

Леонид Добычин

Город Эн (сборник)



Леонид Иванович Добычин

Город Эн (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174114

Город Эн: Эксмо; Москва; 2007

ISBN 978-5-699-24475-1

Аннотация

Леонид Иванович Добычин – талантливый и необычный прозаик начала XX века, в буквальном смысле «затравленный» партийной критикой, – он слишком отличался от писателей, воспевавших коммунизм. Добычин писал о самых обычных людях, озабоченных не мировой революцией, а собственной жизнью, которые плакали и смеялись, радовались маленьким радостям жизни и огорчались мелким житейским неурядицам, жили и умирали.

В сборник вошли все произведения Леонида Добычина: роман «Город Эн», повесть «Шуркина родня», рассказы и письма.

Содержание

Город Эн	9
1	9
2	13
3	17
4	21
5	25
6	29
7	33
8	37
9	41
10	45
11	49
12	53
13	57
14	61
15	65
16	68
17	72
18	76
19	80
20	83
21	87
22	91

23	95
24	99
25	103
26	107
27	112
28	116
29	121
30	125
31	129
32	133
33	138
34	143
Шуркина родня	148
1	148
2	153
3	158
4	163
5	168
6	173
7	178
8	183
9	188
10	195
11	202
12	209
13	216

14	223
15	231
Дикие	239
Рассказы	254
Прощание	254
Козлова	260
1	260
2	261
3	265
4	267
Встречи с Лиз	270
1	270
2	272
3	274
4	276
Лидия	279
1	279
2	280
3	282
Савкина	284
1	284
2	285
3	287
4	288
Ерыгин	290
1	290

2	292
3	293
4	295
Конопатчикова	298
1	298
2	299
3	302
4	304
Дориан Грей	307
1	307
2	309
3	311
Сиделка	314
Лекпом	318
Отец	320
Матрос	323
Хиромантия	328
Пожалуйста	331
Сад	335
Портрет	341
1	341
2	344
3	347
4	351
Матерьял	355
Чай	359

Тимофеев	363
Кукуева	365
Нинон	368
Евдокия	372
1	372
2	374
3	378
4	381
5	384
6	387
7	389
8	391
9	393
Письмо	397
1	397
2	398
3	401
4	403
Письма к писателям	406
Письма к К. Чуковскому	406
1924 год	406
1925 год	412
1926 год	427
1927 год	440
1930 год (?)	441
1931 год	442

М. Л. и И. И. Слонимским	444
1925 год	444
1926 год	463
1927 год	489
1928 год	496
1929 год	502
1930 год	508
1932 год	532
1933 год	535
1934 год	540
1935 год	541
1936 год	541
Л. Н. Рахманову	543
1934 год	543
1935 год	544
М. М. Шкапской	548
Письма и записки делового характера.	549
Надписи на книгах	
М. А. Кузмину	549
В редакцию журнала «Русский современник»	550
В. В. Богдановской	550
З. А. Никитиной	552
А. Л. Григорьеву	553

Леонид Иванович Добычин

Город Эн

(сборник)

Александр Павлович Дроздову

Город Эн

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. – Не оглядывайся, – говорила мне маман.

Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был Престольный праздник Богородицы Скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней. – Нет, в самом деле, – говорили они, – трудно найти ме-

сто, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку «Чичиков». В воротах все остановились, чтобы расстегнуть «пажи», и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. – Симпатичная, – сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. – На проскомидию, – отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За замком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я заметил Богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. – Стой как следует, – велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. – Мадмазель Горшкова, – пояснила Александра Львовна, покивав ей. Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях. – Не на-

до избегать их, – говорил он. – Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбей и горько плакал: «Бог забыл меня», – печалился он.

– Ах, как это верно, – удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадмазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадмазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. – Верно, верно, – соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадмазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадмазель Горшковой, мы поговорили про нее. – Воспитанная, – похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочки, стоя на порогах, зазывали внутрь. – Завернем сюда, – сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас. – Я редко вижу вас, – сказала она нежно. – Дайте

мне «Священную историю», – попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув попку, подала ее. – Рубль десять, – объявила она цену и потом сказала: – Для вас – рубль.

Картинка оказалась – «ангел». Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои. – Пусть следит, чтобы ты ел как следует, – сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. – Миленький, – с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и что там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнает об их дружбе и пожалует их генералами.

– Чем увлекаетесь? – спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?». – Зови Цецилию, – сказала она, – и иди гулять. – Цецилия, – закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слезила в свой сундучок, который назывался «скринка». Проиграла музыка в замке и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, лоснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою

дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубаше с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись. – Там, – произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, – няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им. – Я не верил этому.

– Вот, кажется, хороший переулочек, – сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белелся за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирив. Шаги звучали гулко. – Наша вера правильная, – хвасталась Цецилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью. – Плюнь, – велела она мне и закрестилась: – Езус, Марья. – Мы бежали.

– «Страшный мальчик», – озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам,

и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на практике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был ангел от Л. Кусман. С пальмовой веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Пшиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картинку «Ницше». Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. – В объятия Морфея, – пояснил с почтительностью Пшиборовский, поклонившись ему вслед. – Располагайтесь здесь, – распорядилась, оставаясь за столом, маман. – Не стоит зажигать вторую лампу. – Истинно, – ответил Пшиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы. – Сегодня, – говорил он, чистя, – мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная. – И он рассказывал ее: как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. – Это верно, – согласилась снисходительно маман и призадумалась. – Ведь Бог один, – сказала она, – только веры разные. – Вот именно, – расчувствовался Пшиборовский. Он сиял.

Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился.

В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и раз-

говаривали тихо. – Нет, а Лейкин, – засыпая, слышал я. – Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? – И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман.

Замок скринки сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз – в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цецилией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Факторка Каган прислала нам новую няньку. Она была из униаток, и это всем нравилось. – Есть даже медаль, – говорили нам гости, – в честь уничтожения унии. – Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная. – Вспоминается детство, – твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завитая и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульверизатора. – Как светло на душе, – подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. – Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там

с Фемистоклюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочисты и банщики и поздравляли нас. – Хорошо, хорошо, – говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подседа ко мне. – Нынче ночью, – сказала она, – я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас. – Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало. – Вдруг это Серж, – говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону – посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притопывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все встрепенулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен. Парад начался. Кто-то шелкнул

меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилился. – Голубчик, – подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удаляющейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. – Идете, – сказал он, – и видите, как извозчицы дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах. – Успехи науки, – подивились они. Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. – Пас, – объявляли они. Один из них был «выходящий», и маман занимала его. – Я вчера познакомилась, – говорила она, – с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. – И Серж тоже, – сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел колокольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и «Страшный мальчик».

Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». – Вы ездите в крепость? – спросила она. – По субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спереди. – Как у больших, – удивился я. Мы поболтали с ним. – Серж, – оглянувшись, спросил я его, – это ты один раз построил мне страшную рожу? – Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости отбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась. – Знаешь, – сказала она, – мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней. – Серж, Серж, ах, Серж, – повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову. – Очень приятно, – сказала Софи. Взяв

друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку: – Мы с тобой – как Манилов и Чичиков. – Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. – Вот Дон-Кихот, – показал мне Серж, – он был дурак. – Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом. – Прекрасно, – рукоплещая, говорила маман. – Серж хороший? – спросила она, когда мы возвращались. – Да, он воспитанный мальчик, – ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок саратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. – Очень рад, – восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якоря и топоры. Борода у него была включена и казалась нечесаной. – Водосвятие прошло очень мило, – сказал он и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную ел-

ку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечи. Говорят, это бывший костел, – рассказала Софи Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо, с солдатом на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-фу —
Голова в пуху.
Одета по моде.
А голова-то в комодe.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась. – Дни стали заметно длиннее, – сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл там под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они – электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский замок». – Послушай, – сказал он мне вдруг, – это я тогда соорудил тебе страшную рожу. Потом он поклялся, что это не он был.

Кармановы перебрались в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая большая называлась «зал». На масле-нице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала к нему руки. – Александр, – говорила она трогательно, – о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они передали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского – помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывавший вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его.

К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме. – Можете себе представить, – говорила она. По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была по-

ставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Каган, факторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагубила, и маман отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей. – Находка, – закричала она, что-то разворачивая. Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами. – Замечательно, – одобрили мы. – Дело в том, – сказала Александра Львовна, – что при выходе из дома она встретила портниху, панну Плевис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделявали па.

Пойдем, пойдем, ангел милый,

– напевали они тоненько, —

Польку танцевать со мной.

Слышишь, слышишь звуки польки,

Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежа-

ли. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней – Алкид и Фемистоклос, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. – Софи, – сказала она, подходя к девицам, – там Иван Фомич. Он сделал предложение. – Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На середине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен.

Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах – «карамель Мерси», имеющих в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с крас-

ными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика, и в фунте ее было много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиваньем, крюковская дочь отозвала меня в сторонку и дала мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у меня в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел. – Завтра мы поедем в крепость, – объявил он, – и вы с нами. – Оказалось, инженерша собралась туда молиться о покойном Самоквасове.

– Бом, – начали звонить в соборе. Мы перекрестились. Пфёрдхен подошел с свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. – Киндер, – покричали мы им вслед, – тэй тринкен,¹ – и потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувыркалась в воздухе. Она расшевелила нас. – Пойдем к подвальным, – предложил мне Серж.

Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскивали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скринке у Цецилии, улыбался, с узенькими плечиками, папа Лев. Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки. – Ваши дети не дают проходу, – как всегда, пожаловались мы. –

¹ Дети, чай пить (нем.).

Мы им покажем, – как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиися немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали.

Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широко. – Пробуждается природа, – говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них – не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулом пушечкам и свешивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. – Вот Вася Стрижкин, – показав

ла она. – Вася, – шепотом сказал я. Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я отдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. – Ай, цвай, драй,² – сказал снаружи Янкель. Я увидел все, о чем был так наслышан, – и «Изгнание из рая», и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед Пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. – «Пан христус з мартвэх вста, – писал нам Пшиборовский, – алелюя, алелюя, алелюя».³

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадмазель Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздрав-

² Раз, два, три (нем.; здесь, возможно идиш).

³ Христос воскрес, хвала Господу (польск. др. – евр.).

ляли нас. Маман сияла. – Закусите, – говорила она им. С руками за спиной, отец похаживал. – Пан христус з мартвэх вста, – довольный, напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Канторек провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась. – Я никогда не видела его, – сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил людей, которые были богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в лагери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди был виден лес, воинственная музыка неслась оттуда. – Это лагери, – сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматулла стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. – «Как для кого!» – было на-

писано химическим карандашом и смочено. – «Ого!» – «Так говорил, – прочла маман заглавие, – Заратустра». – Это муж читает и свои заметки делает, – сказала нам Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отправились побродить и осмотрели лагеря. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем, он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель. – К больному в город, – крикнул он нам. Мы остановились, чтобы помахать ему. – Когда дерут солдат, то он присутствует, – сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марши. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запах щей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы переждали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество и как на занавесе был изображен шильонский замок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» – Серж или не Серж.

– И не узнаешь никогда, – сказал Андрей. – Да, – согласился я с ним, – да! – Так разговаривая, мы спустились на берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл.

За рекой распаханые невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленопреклоненная, взирала на него. – О, Александр, – восклицала она, каясь и ломая руки, – о, прости меня. – Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. – Да, да, – ответил мне Андрей на это, – да! – Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахматулла.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Плепис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить приданое. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты». – Здесь очень мило, – похвалил он, сев на золоченый стул. Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась. – Это уже лишнее, – сказала она. Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна. – Как в романе, – облизнувшись и посоловев, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внуши-

тельною.

Возвращались мы расслабленные. – Все-таки, – откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман, – она подскуповата. – Я дремал. Я думал о портнихе, панне Плепис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».⁴

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная, в costume из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь» с брелоками, она дышала шумно. – Чтобы легкие проветривались лучше, – поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, а она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. – Они католики, – сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекарьшу фон-Бонин посетила мадам Штраус, и пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец явился Пшиборовский, и мы стали упаково-

⁴ Дворец (польск.).

вываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур».⁵ Он сообщил, что сёдоки-военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. – До свиданья, крест на повороте, – говорили мы, – прощайте, аист.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегала через огород в одной ротонде на реку. Она купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотымах чуть видная, стояла у воды.

Опять к нам стали ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная. – Проходит лето, – говорила она нам, – а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка. – Это верно, – отвечала ей маман. Мне было грустно, и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писанье, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и

⁵ Здравствуйте (фр.).

тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктор.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказывал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками. – Если мы получим их, – сказал я, – то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он роздал жестяные, и мы отдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчая была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и, так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей когда она теперь бывала у нас, то всегда спрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. – Сентябрь, – озабоченная, звякая брелочками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. – Интересно, интересно, – говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. – «Кафтань», – списывал я с прописи, – «зелены». – Брось, – сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горе стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались уже в сумерки. Уже показывались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у козел. Вдруг слышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. – Резиновые шины, – наконец заговорили мы.

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была отперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебивали по множеству раз. Вместо того чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал.

Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман «ты». – Бог послал тебе скорбь, – говорил он, – и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда отбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином

и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это – сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялась и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная факторкой Каган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под вечер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощекенькую Богородицу тюремной церкви. – «Мадонна, – напечатано было под ней, – святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жила при училище. В красном капоте она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоих отпечатаны были пагоды с многоэтажными крышами. – Мы к вам по делу, – сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло Рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что она делала после того, как была у нас. – «Все вспоминаю, – писала она между прочим, – веночек, который тогда возложила на гроб инженерша Карманова». – А, – улыбнувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орган.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф.

Через несколько дней она показала мне, как надо связы-

вать тетради и книжки, и повела меня. – Все-таки, – говорила она по дороге, – день стал заметно длинней. – У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковой я увидел девчонку Синицыну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их. «Все», – говорила она им, – это значит «напрасно». – Она усадила меня, и мы стали писать.

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. – «Тюленьи кожи, – диктовала она и пускала дым колечками, – идут на ранцы». – Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадмазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пффердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удалось чистописание, и мадмазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. – Великопостные, – взглянув на небеса, сказала она басом, – звезды, – и потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи. – Да вы зайдите к ней, – сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». – Ангелы совсем другое, – пояснил он. Дамы недовольны были. – Не тебе судить об этом, – стали говорить они. Карманова негодовала. – За такие штуки надо драть и солью посыпать, – сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам. – У вас на голове червяк, – обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. – Какие дураки, – поговорили мы о них. Вдруг пфердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся. – Господа, – кричала она и жестикулировала. – Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку. – Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напомнила мне Богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. – Кто это? – спросил я на бегу у Сержа. – Тусенька Сиу, – ответил он.

Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадукe. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне – на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: – Александр, о, прости меня.

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. – Это сын одной телеграфистки, – рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадмазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня. – Пойдемте в сад, – звала она меня, – спровадив Синицыну и Осипа. – Смотрите, яблони цветут. – Нет, мне пора, спасибо, – отвечал я. Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подала мне чай. Трепе-

щущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шурша, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. – Васенька, – сказал я и перекрестился незаметно, – помоги мне.

Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». – Что ты там читаешь? – спрашивала иногда она, и я показывал ей.

– Это книги для больших, – сказала она мне однажды, поднявшись к себе наверх и принесла мне книгу детскую.

– «Любезность за любезность», – называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже хотя и не была дворянкою, была приглашена. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. – Муштруете уж очень, – заявила она нам. Мы рас-

сердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на Пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейкской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и, когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем»⁶ и ссадил помещицу в митенках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Брель-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. – Осень, осень близко, – покачали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». Туда были отдельные билеты, мы

⁶ Пожалуйста (польск.).

посоветовались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними, и когда все сели, – свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подала мне записку, свернутую в трубочку. «Как вам понравилась живая фотография? – было написано в ней. – Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.»

Составительница этого письма ждала ответа, сидя на скамейке перед домом, и, когда я вышел за ворота, встала. – Я Стефания Грикюпель, – назвала она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом. – Мой друг Серж уехал в Ялту, – рассказал я, – а Андрей Кондратьев в лагерях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. – Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цифры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны – факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. – Но это так естественно, – сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слезила наверх и принесла «Любезность за любезность». – Я дарю ее тебе, – сказала она мне.

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтона был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшекласников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Борках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел дер-

жал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их. «Статские, – выбиты были на ней старомодные буквы, – советники Петр Петрович и Софья Григорьевна Шукины». Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. «Монументы, – заметил я вывеску с золотом, – всех исповеданий. Прауда». Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины. – У нас теперь есть граммофон, – говорила она нам. А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили. – Но жалко, – сказал один гость, – что наука изобрела это поздно: а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди. – Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. – «Черты, – подписал он под нею название, – лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он подал

две маленьких дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорогой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен. – Приятно, – сказал он мне, – быть знакомым с учащимся. – Наскоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи. – Она, – посмеялся он, – думала, будто ваша фамилия – Ять. – Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. – Вообразите, – сказал я, – учащиеся пишут на партах плохие слова. – Части тела? – оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с «чертами лица» и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. – Маршировка прошла

очень мило, – сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городских, отгонявших зевак. – Да, – толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

– «Православный», – сказал нам на уроке «закона» отец Николай, – значит «правильно верующий». – По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он начал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что – нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. – У них всегда грязные ногти, – сказал я, – и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «квартал», «галоши» и «одену пальто». – Дураки, – посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,

Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась на них. Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван

Моисеич повел нас к инспектору на перекличку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Маугли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

– Сегодня, – объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно, – будет «страшная ночь», – и она посоветовала нам пойти на реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзло. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел

огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчи-
чьи санки. В шинели офицерского цвета Вася Стрижкин си-
дел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал сча-
стья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот,
в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам,
что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре
урока.

«Спектакль для детей», – возвестили однажды афиши.
Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед
внушительным юношей и восклицающая: – О, Александр! –
Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон. Военный
оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел.
Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он поды-
мется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то
выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне.
Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели
на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета
«Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще
дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обед-
ни – и начинались молебны «о даровании победы». В ок-
не у Л. Кусман появились «патриотические открытые пись-
ма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии
броненосцев и крейсеров и наклеивать их в «Черновую тет-
радь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы погово-
рили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и

именитые женщины не собираются вместе и не шиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. – Натали, ах, – хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж. – Ты читал книгу «Чехов»? – краснея, наконец спросила она.

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстную неделю в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, ого-роженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменяла приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Но-ли ме тангере», она нас поздравила с Пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, по-

мещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвала меня в дом и велела проститься с Александрой Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливая в два блюдечка: – Пусть остывает скорей. – Завоюете их, – говорила маман, – и тогда у нас чай будет дешёв.

На лето Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамбы и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. – Христианский народ, – говорили они, – а помогает японцам. – Действительно, – пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Маугли напечатано было, что она переводная с английского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это – нотари-

усиха Конрадиха фон-Сасапарель. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. – Пользуются, – пояснил он нам мрачно, – что господа поразъехались. – Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Кантореку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорилась с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь уже знать. – «Вас ист дас?»⁷ – диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плеве убит, и, расстроенная, быстро набросаясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался со Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со

⁷ «Что, что?» (нем.)

МНОЙ.

– В училище завтра молебен, – объявила однажды маман и подала мне «Двину». Я прочел извещение. – Итак, – думал я, – уже кончилось лето. – Я съездил в последний раз в Шавские Дрожки. На лозах там уже поредела листва. Паутина летала уже. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребеночком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня. – Всё такой же, – эффектно сказала она, – но в глазах уже что-то другое. – Конрадиха фон-Сасапарель завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были рожки и надпись «Криме».⁸ Инженерша под села к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать. Я был встревожен. – Уедет и Серж, – думал я, – и конец будет дружбе. – Печальный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложение к книгам Л. Кусман дала мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке их было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила кое-какие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпольский и Лившиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разочарованный, я решил не иметь больше дела

⁸ Крым (фр.).

с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня посадили за это в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом глаза смотрели на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. – Натали, Натали, – думал я, и обедни уже не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Оловым. Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто всё, что рассказывают про Подольскую улицу, правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришлось в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как мне говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же квартале, в каменном доме Канатчикова. Прихо-

дя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показывал, как надо креститься двоеперстно. Из дома теперь нам видна была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была расположена небольшая военная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новоселье. Они не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пфердхенов Серж уже начал учиться у Гаусманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Гаусманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьезно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые брали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял, как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителя, – а то бы она удалась мне.

– Надо больше есть риса, – говорила теперь за обедом маман, – и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис – и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на имениях. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанза». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были заняты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный клобук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы Бог посадил его в ад. Но он скоро явился. – «Иуда, – вывел он на доске, – целованием предал Иисуса Христа», – и мы начали списывать.

На Рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с кирхой и надписью «Фрёлихе вейнахтен».⁹

В этом году инженерша полюбила политику. Часто она

⁹ Счастливого Рождества (нем.).

принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне всё больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда – домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Олов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов с съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в первый раз еще видел их близко. – Они как скоты, – сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признаюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звала погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже

показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Вороны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. – Простонародье бунтует, – сказали мы. – Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был настлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щёлкнула вдруг и присвистнула. – Тише, – сказала маман. Она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. – Соловей, – прошептала она.

Мне не велено было ходить за ворота, но я и не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотека», я вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врал.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и ветками и надели на всех нас венки. Они долго скакали и пели и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись и огни были залиты и ворота закрыты и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, стоя у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

Стессель-генерал доносит,
Что нет снарядов никаких.

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала меня подучиться французскому. – Это трудный язык, – говорила Горшкова. – Все букровки в нем пишутся так, а читаются этак. – Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной». – Заключение мира! – выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще, и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас. – Если бы мы воевали подольше, – говорила она нам, – то мы победили бы. Витте нарочно подстроил все это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» – деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей – в «параллельном». Уроки «Закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время Закона картинку. – «Пожалуйста к столику, – называлась она, – мои милые гости». – Карманова очень была недовольна, увидев ее. – Все какие-то пасквили, – стала она говорить с отвращением. – Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. – Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, глядя бороду, и, крепясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преплагий», с страшным треском разорвалась вдруг где-то под боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впе-

реди выступали ксендзы. – Вот мерзавцы, – сказала Карманова и разъяснила нам, что, по религии, им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напакостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка, и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. Алфавит начинался: «Анохина, Болдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что все делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредет.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была «правая», но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там был, он там чувствовал, что согла-

шается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский, и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей – получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

Возьмите унцию смирения,
Прибавьте две – долготерпения, —

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли Бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и, чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешиванья на стенах. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрю Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Вагелем, и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жила с инженером. Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник. В квартале за кирхой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу, но это не имеет большого значения и главным по-прежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахали ему. – Серж, Серж, ах, Серж, – не успел я сказать, – Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уже не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сиу, отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. – Вы не читали речь Муромцева? – благосклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под соснами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. – «Карательная», – пояснила нам Ольга Кускова.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я – как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вы-

звался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. – Осип, – сказал я, – ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? – Я взял его руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

Снова осень была на носу. В палисаднике уже щелкали, лопаясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. – Прежде, – говорила маман, – можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кни, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софронычев. Звали его Грегуар. Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара Агатой и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник «Закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. – Не бейте, – сказала она, – того мальчика в серых чулках. – Мы смеялись. Потом мы послушали, как муж-

чина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

«Мел, гвоздей», – перечислено было на прибитой к калитке дощечке, – «кистей, лак и клей», и задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы. Осыпались деревья. Нескладные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей все же, тоже хороший. И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор. – Без причины, – между прочим сказал он, – его не убили бы. – Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой с харчами. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы занялись ими, сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно,

необыкновенно прекрасен. – Андрей, – сказал я, пододвинувшись ближе, – есть одна ученица по имени Тусенька. – Сусенька? – переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» – правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Натали.

В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса электрической станции и побродил. Огороды, пустые уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовке у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретилась в бане с Александрю Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. – Он, – рассказала она, – не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. – Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонько в Гриве Земгальской. Довольные, мы посмеялись.

Софронычев несколько дней «фуговал»: выходил утром из дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

«Серж, – писал я во время уроков на вырванных из тетради листках, – я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство. Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотней является в комнату и толкует со мной». – Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикову, что под домом у него сидит сын на цепи и что сын этот глупый, или про подвальную Аннушку – как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж, – писал я, – ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне все равно не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удастся следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел Достоевского. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов – мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который а) важен, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал ключья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж, – писал я еще, – ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это – грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лотерее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех». – Может быть, – думал я, – она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь «господ и госпож».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняжка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старше его.

На расчищенном месте уже завертелись вальсёры. Карл

Пфердхен кружился со своей сестрой Эдит. Конрадиha фон-Сасапарель выступила с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. – «Отчего это, – кто-то спрашивал в нем, – вы задумчивы?» – Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, я прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозу, и на глазах у меня расплзлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. – У тебя ли табак? – спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимой мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член думы проехал вдруг – в маленьких санках, запряженных большой серой лошадью под

оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щёку и черную бороду. – Наш, крайний правый, – сказал нам Канатчиков. Мы улыбнулись приятно.

У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие де-лишки. Она продавала участок, который достался ей по за-кладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купален слышны были всплески. Лоза над рекою цвела. – Серж, ты помнишь, – сказал я, – когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облака принимали вид гор, об-ступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером отплыли. Мы заболели в пути морскою болезнью. Мы приплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили на шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. – Васенька, – мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето напрокат у татар. Держа вожжи, возница – на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож – обернулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали. Кар-

манова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами булочки. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал. – Ты дитя, – говорил тогда Серж, – шаркни ножкой. – В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу – окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распорядиться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блестящими «газа», они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислонялись к

столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?». Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистили к завтраму овощи. В море гудел пароход. Иногда недалёко начинали играть на трубе.

Мел, гвоздей, —

подпевал я тогда ей беззвучно,

Кистей, лак и клей.

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, бегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее, прячась, и никому не сказал, что читал ее. — В чем же тогда, — говорил я себе, — можно быть совершенно уверенным?

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Караата кормили их корками. — Значит, он сыт, — говорила Карманова, — если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уже увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре». – Побеседуйте, – предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. – Без причины, – сказал я, – конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» – колонны и статуи и ступени к воде. – Серж, Серж, ах, Серж, – по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола были скрыты холщовыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там – золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. – Может быть, – думал я, – глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. – Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался. – Вот видишь, – сказала маман, – как приятно иметь знакомых со средствами.

Всё разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского чело-веколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и

усадила.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в нечетные дни Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это – предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убрали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебрался со своею аптекой в новый собственный дом – он украшен был около входа барельефом «сова».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь – благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «мюзик», – я сказал бы ей: – Здравствуйте.

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и – Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и отдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. – Мало, мало, – сказала маман, – довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были на похоронах. Там мы встретили нескольких

прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. – Вот «мел, гвоздей», – говорили мы. – Будьте здоровы. «И. Ступель».

На кладбище, возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли. – Электрический театр, – сказали они нам, – открывается на этих днях. – И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его освящение. В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я по-

думал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в фойе. Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. – Господа, – закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене, – это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. – Да, – подтвердила маман.

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами, «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические». – До чего это глупо, – довольные, произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе.

Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. – Карл, – хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного замка, и отец не впустил его в дом. – Ты фамилию нашу, – сказал он, – снес в острог. – Он был видный мужчина с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела мадам Гениг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окна на гарнизонный собор. – Как прекрасно, однако, – оглядываясь, говорила она нам. Сергей

Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караатом. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. – Крупичатый малый, – сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа. – Разговор идиоток, – сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софронычев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. – Наконец-то я, – думает он, – отдохну. – Но внезапно раздается звонок, экономка бежит открывать, и дорогою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был – один. Горько было мне это. – Вдруг, – ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил, – мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся.

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату аппассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбе-

жал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла Агата, сестра Грегуара, – бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был – я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрю Львов-ной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные, мы поспешили поздравить. – Билет ведь его, – рассказала она нам. – Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее. – Да, – говорила маман, – вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух. – К тому же, – сказала она, – там приличное общество. – Так, – вспомнил я, когда мы возвращались, – я думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить.

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали – и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, – то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не

позволил.

Уже потемнели дороги. Днем таяло. Вечером небо было черно, звезд в нем было особенно много. Все чаще вынимал я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквах уже зазвонили по-постному. Мы исповедовались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

Даме из Витебска мы написали поздравление с Пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою «Ноли ме тангере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать. – Всё меньше, – сказала она мне, – у нас останется друзей. – Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с Богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «Божьего тяла» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман разрешила мне пойти с Шустером на реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом»¹⁰ и выронил в это время бу-

¹⁰ Буквально: лежал крестом, т. е. в молитвенной позе, распластавшись (польск.).

мажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шустера. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. – Мерзавец, – сказал я. Вдали нам видны были лагеря. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с вальком на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагромождены были плоты. Перескакивая, мы добрались до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками. Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на бревнах и слушал, как вода о них шлёпается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что-то и меня что ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. – Что такое? – дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный, – называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напеча-

тана, – возраст». – Так вот как, – сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрой Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свента-Гура». Со станции нас вёз извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались, воспоминания нас обступили.

«Вдова А.Л. Вагель», – уже красовалась доска на воротах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрела». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понравилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступеням.

Маман повела А.Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперовича. Дом к-ца Мамонова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо: – Это ваш сын? Это очень приятно. – Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбивое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем – Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хором собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесён отцу Федору крест.

А.Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слышали о ней. Наконец фрау Анна, явясь с своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А.Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А.Л. собирается основать в Свентой Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. – Я представляю себе, как это будет красиво, – сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

Когда это было готово, А.Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для супа. А.Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в середине. Кровь била дугой.

Мы остались у А.Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А.Л. занималась с ней. – «Ки се рессамбль», – бубнила она по складам в «кабинете», – «с'ассамбль».¹¹ – Потом пришло много гостей – свентогурских чиновников, пенсионеров и дачников. А.Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

– Интересно, – заметил почтмейстер Репнин, – что у них на палаче есть палка для флага, а флага они не вывешивают. – После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узнаешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг

¹¹ Кто похож друг на друга... те сходятся (франц. пословица, аналогично: рыбацк рыбака видит издалека).

вздрыгнула. – Я вспоминаю, – сказала она, – девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

Затем мы отправились в «парк». На А.Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошли вслед за ней по дорожкам. – Гимн, – крикнул почтмейстер Репнин, когда мы оказались на главной площадке, где были подмости. Тут все сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

– Не понимаю зачем, – говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами, – вертятся возле нее эти малые – суриршин и бониншин. – Я ничего не сказал ей. – «Опасный, – подумал я, – возраст», когда я пойму уже это, – пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет.

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. «Я очень прошу вас, – писали мне, – быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и

подстерегала меня. — Я смотрела, — загородив мне дорогу, сказала она, — во дворе, как развешивают там ваше белье. Все такое хорошее, и всего очень много. — Она попыталась схватить меня за руку. — Если бы, — томно вздохнув, заглянула она мне в глаза, — дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. — Прекрасно, — подумал я. — Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Натали.

Она ёрзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольный, что я никогда не поймался бы так. Я огляделся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождалась меня. Было досадно.

Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквях. Громыхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в

колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал пастор. За дрогами первым был Штраус. Его вели под руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич, Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирхе звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо. – Двое и птица, – сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «Троицы». Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких наблюдателей освобождают от платы. Смотря ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздёв, шестиклассник, покажет мне, что и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздёвым. – Не он ли, – говорил я себе, – этот Мышкин, которого я все время ищу?

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазами. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах леса иногда проносился. Гвоздёв меня ждал на углу. Я сказал ему: – Здравствуйте, – и мне понравился голос, которым я это сказал: он был

низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздѐв рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван Моисеича и мадам Головнёвой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я, радостный, слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа, и концы их сигарок светились.

Гвоздѐв чиркал спичками «Закс». Из физического кабинета мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздѐв сообщил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сеппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром. «Гвоздѐв, – на мотив „мел, гвоздей“ напевал я, оставшись один, – дорогой мой Гвоздѐв».

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздѣв подошел ко мне на перемене. На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздѣва Софронычеву, и они подружились, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. «Самое, – увидел я надпись, – любимое:

книга – «Балакирев»,
песня – «По Волге»,
герои – Суворов и Скобелев,
друг – Гвоздѣв».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины. – Мне задано много уроков, – сказал я, – и кроме того, мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. – Хорошо для здоровья, – сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А.Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки ска-

меек, покачивались и вели разговоры под музыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздёва, Агата, коротенькая, приналегала и не отставала от них. Карл Пфёрдхен, красуясь, скользил внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда – с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было все как всегда. Не хватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне. – Сколько времени мы не встречались, – сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подросла девица, которая, меча в меня снегом, напала на меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила. – Жаждет, – пояснила она, – познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда

вдруг испарились. – Девушка кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось, Луиза Кугенау-Петрошка.

– Ну, я исчезаю, – сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошлись с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, с скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделывали кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хиавату». Припрыгивая, они боком отходили один от другого в противоположные стороны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее – они были коричневые – были подняты наискось влево. Ее волосы, как у взрослой напленные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем написано было: «Ого!» – и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в «гимназии Брун» и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы в годах. Бродя толпами, все свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что

она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрагама, где дамба сворачивает и с нее можно видеть три четверти неба, и оттуда любитесь вместе с Софронычевыми кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, притопывая, чтобы ноги не мерзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленице посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе было туманно, как в прачечной. Тучи висели. – Арбат, дом Чулкова, – сказал я, садясь один в сани. Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встрети-лась Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ его уже что-то темнелось. Карманова, потеряв краем кофты пенсне, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично троими детьми, Софи, грузная, с скучным лицом, опирается на балюстраду, обитую плюшем с помпончиками. – Кто сказал бы, – подумал я с грустью, – что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время, как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемой «Ноли ме тангере»?

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли. – Известно вам, Серж, – спросил я, когда мы отделились от дома Чулкова, – что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста? – Серж посмеялся. – Она вообще, – сказал он, – аматёрша клубнички. – Он мне рассказал, что она (по-французски, чтобы он не прочел) услаждает себя, например, Мопассанчиком. – Это, – спросил я его, – неприличная книга? – и он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви».¹² Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот наконец-то и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы

¹² Жизнь (фр.).

Европы – конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала, что, кажется, скоро Белугиных переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. Навстречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах. – Серж, помнишь, – сказал я, – когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-фу. – Мы приятно настроились, вспомнили кое о чем. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу. – Миленькая, – прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

– Моя мама, – сказала Луиза, – хотела бы, чтобы вы мне давали уроки, – и мы сговорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло, и был виден коричневый с прошлогодними листьями дерн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоком ваты, и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догнала возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудренное, с одутловатостями, а волосы – подпаленные. Щурясь, как когда-то Горшкова, она принялась торговаться со мной. – Это принято уж, – говорила она, – что знакомым бывает уступочка. – Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербоч-

ку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи. – Щепка лезет на щепку, – хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности продекламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Врун. Нам встречалась Луиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигую, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у

гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приятнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А.Л. теперь после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А.Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная вечеря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась «да Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба мальчика, Сурир и фон Бонин, вертелись по-прежнему возле А.Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А.Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе с шарфом, и, старенькая, подпершись кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали

гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

– Серж любил публичность, – сказал я себе и приподнял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялась за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я сказал ей, что «это естественно, так

как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обоих не видел, напоминала Софи. Так недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боком, в мало-российском костюме». В лесу возле «линии», пылкая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался «молебен». С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Голубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью.

Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услышал интересные вещи.

На Уточкине, где мама была в шляпе, украшенной виноградною кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, – ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, – и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. – Благодарите, – сказала маман, – господин Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не

живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. – Трудно представить себе, – зарыдала она, – до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: – Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать.

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему: – Двое и птица. – Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переключки я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона». – «Пустыня, – прочел он из главы о „монашестве пустынножительном“, – бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась.

Великое множество старцев наполнило оную и читало в ней, пело, постилось, молилось». – Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию». – Тут есть такое! – сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроясь на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. – Вы, если что, – говорил он мне, – ставьте в известность меня. Я буду драть. – И рассказал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет и соседи сбегаются. Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда

было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздёвым с Софронычевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже. Лица ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой.

Незаметно дожили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городской.

Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, – смотрели.

Один как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздуваясь, в шляпе с перьями, пудренная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть тащась, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и, пока они там рассуждали, – стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у лагерей, встретил Андрея, и мы с

ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Денщик – лиходей». Затрубили «вечернюю зорю». Звезда появилась на небе. – Андрей, – сказал я, – я читаю «Серапеум». – Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удастся узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о Боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

– С Андреем, – говорил я себе, возвращаясь, – приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. – И я вспомнил Ершова.

А.Л., как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь интересное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А.Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду. – Врачом, – говорила А.Л. за меня, так как я сам не

знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картинку да Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «вечерей», изображенное на этой картинке.

В день «перенесения мощей Ефросинии Полоцкой» был «крестный ход», и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам. – Как прекрасно там было, – снимая с себя свое новое платье и моюсь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она. – Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи. – И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратный шел медленно. Парило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егозили. На улицах люди впотьмах похохатывали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется,

что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибыла в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

– Видела дочь? – спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялась с того дня дрессировкой Евгении, сшила наголку ей на голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал «кафедру» и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее, между прочим, о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи. Деревья и улицы были только что политы. Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кир-

хе. – Зо загт дер апостель, – с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал. – Паулюс!¹³ – Здесь к нам подошел Фридрих Олов. Он был одет в «штатское». В левой руке он держал «котелок» и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал тувельку Анны Иоановны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. – Неужели, – восхищался он нами, – действительно вы изучили уже почти весь курс наук? – Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.

Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться мощам», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать что хочет до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то

¹³ Так говорит апостол... Павел (нем.).

отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрали на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за учеьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было «законоведение», и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой, как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмости. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмости был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пффердхен и сказал: – Поздравляю. – Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейсах Лейзерах обнял меня. – Ты поэт, – объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. – Мы знаем уже, – говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к ним под шумок.

– Я хотела бы с вами, – сказала она мне, – немного поговорить фамильярно. – Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью. – Сразу заметно, – польстила она, – что у вас есть свой форс.

Обо мне услышала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стихами. Он сам сочинил их.

Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за всеобщей.

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. – Это, – пожимая плечами, сказал я, – который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. – Слушай, – сказал я Ершову, – прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

– Ну и гусь, – закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, припод-

нял ее и прижал к себе. Я тихо отнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом. Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». – «Лучший, – писал я ему, например, – проводник христианского воспитания – взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» – или «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». – Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоцком. Вся семья жила там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и

отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова, жила у него еще классная дама Эдемска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарии «Освята» и выпишет там на полгода «Газету – два гроша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарьянец и даже состоит в переписке с Толстым; что, когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на улице, как офицер бьет по морде солдата за неотдание чести, – и трясся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивляло немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что вот и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: – «Ах, Серж, очень счастлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по ве-

черам и не стал отвечать на записки. – Ты хочешь отшить меня? – встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбегать куда-то и возвратиться при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в желтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенсне с черной лентой прошла от угла до ворот классная дама Эдемска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, съезжась, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно было бы сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: – Умер, – сказал я Ершову, подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает с неба, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набирает свою голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня. – Подождите немножечко, – распоряжалась она. Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном среди вееров и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и гжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур переводная птичка была мне хорошенько видна. «Сильва, сильвэ»¹⁴ – смотря на нее, начинал я склонять. Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался показать, что не сплю, и для этого повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт кандида фата туа» или «пульхра эст».¹⁵

Раз мы читали с ним «дэ амитицие верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он счастлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с

¹⁴ Лес, леса (лат.).

¹⁵ Пусть твои пути будут чисты; красива (лат.).

Пейсахом. Мы походили. У «зала для свадеб» мы остановились и, глядя на его освещенные окна, послушали вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пейсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,
Урну незримую слез умиления
В высь необъятную, к горних начальнику,
Дружно направим с словами прощения:
Вечная Гоголю слава.

– Зайдем, – предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на большой перемене, мы видели их. Через год, предвкушали мы, мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздёв. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подош-

вами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц. К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эдемска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденье саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день Рождества почтальон принес письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле, подала их: Карманова, Вагель А.Л., фрау Анна и еще кое-кто – поздравляли маман. Мне никто не писал. Ниоткуда я и не мог ждать письма. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над землею за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весной «гимназию Брун» и уехала в Киев на зубоврачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла на каникулы.

– Вы не читали, – сказала она мне, – Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»? – Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертона, а про «современную литературу» я думал, что она – вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в

этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамбы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

– Но дело не в том, – заявила она. – Я читала не давно один интересный роман. – И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно женаты.

– Ну, как вы относитесь к ним? – захотела узнать она. Я удивился. – Никак, – сказал я.

Против «зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне на бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня, там бывал Грегар и один из пятерочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникла тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря друг на

друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.

Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софронычеву. – Ты встречаешься, – ласково глядя на него, думал я, – каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей.

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. – Шустер, – говорил я себе, пораженный. Я вспомнил, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. – Как все же мало мы знаем о людях, – подумал я, – и как неправильно судим о них.

Рано выйдя, я утром стал ждать его. – Шустер, – сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рассказал мне. Он ходит по пятницам, так как в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнает, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах: – Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, любопытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя с тем, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках – в тот день, когда праздновалось «освобождение крестьян». Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пейсах очень хвалил меня. – Ты показал им один раз, – говорил он, – что ты это можешь, и хватит с них. – Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

– Все равно всего курса я не успею пройти, – говорил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врагом.

Я успел из уроков латыни узнать между прочим, что «Ноли ме тагере», подпись под картинкой с Христом в пустыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что попечитель учебного округа может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей. – Если бы только уметь, – говорила она мне, – то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками. – Ну-ка, – сказал он. Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день были нам даны на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась. – Когда, – говорила она, – это кончится? – На ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили «свидетельства». С кафедры, на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствия. То засыпая, то вздраги-

вая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. – Истина, благо, – по обыкновению, красноречиво воскликнул он, – и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для «наблюдений» я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын помешался оттого, что не выдержал в технологический. – Он все науки, – сказал нам Канатчиков, – выдержал и только плитус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел. – Нет, мадам, – на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице. По привычке, я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и, когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пастора-

те», и я не встречался с ним. Пейсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым маман отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пейсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к «котелку» и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло.

– Погоди, – сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было: «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Гривы Земгальской. Свистя, пришел на берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя все, коричневый, он остался в од-

ной круглой шапочке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему «Здравствуй», но я не осмелился.

Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.

Шуркина родня

1

Телега со скарбом подъехала к домику. Он был бревенчатый, обитый железом. К дороге он был обращен тремя окнами. Дверь и два окна были сзади. Двор не был ничем огорожен.

Хозяйка, которая шла за телегой, шагнула еще раз и, очутившись рядом с возом, ссадила с него шестилетнюю девочку и мальчугана лет трех. Шурка, средний, сам спрыгнул.

Явились мальчишки откуда-то, расположились и стали глазеть. На крылечках двух соседних домов появилось по женщине.

– Сбегайте, кто-нибудь, дети, – сказала приезжая, – и попросите сюда господина Акимочкина.

Дождаясь его, она села с детьми на завалинку. Возчик отвязал от телеги ведро. Достав из колодца воды, он дал лошади пить. Он свернул «козью ножку». Махоркой завоняло в свежем воздухе.

Пыльные, из придорожной канавы торчали репейники. Поле с коротенькой бурой щетиной тянулось до леса. Местами оно было серое от паутины. Казалось, что на нем лежит иней.

Лес был верстах в трех с половиной. Недавно за него село солнце, и небо над ним еще было слегка желтоватое.

Виден был верх колокольни за лесом, и крест одним краем блестел на ней. Черная, около колокольни видна была узенькая заводская труба.

Разрезая лес вдоль, показался вдруг и стал быстро бежать белый дым. Поезд вынесся и застучал, приближаясь.

Извозчик сказал, что дорога, по которой идет этот поезд, зовется здесь «веткой», а сам этот поезд «кукушкой». Он возит со станции к сахарному.

Мальчуганы, ходившие за господином Акимочкиным, прибежали, и скоро стал виден он сам.

Он шагал, держась прямо. Он был невысокий и черный, с железнодорожными пуговицами.

Дойдя, он приставил одну свою ногу к другой, как солдат. – Добрый вечер, – сказал он.

Посылавшая за ним женщина встала. Он был ее брат. У обоих у них были красные щеки, срастающиеся на переносице брови, рот, в углах загнутый кверху.

Акимочкин отворил принесенным с собой ключом двери, и в дом внесли вещи.

В нем были две комнаты: «кухня» и «зал». Стены зала побелены были мелом. Пол в нем был дощатый, покрашенный. Дети, восхищенные, стали валяться.

Их мать, отвернувшись, достала платок из-за пазухи и, развязав его, вынула деньги и расплатилась с извозчиком.

Он постоял и спросил, нет ли «синенького», и ему нацедили в стакан через корку.

Потом нацедили себе, и Акимочкин, опрокинув, пошел.

– Ну, пока поживите, – сказал он, как будто бы этот дом был его.

На пороге столкнулась с ним гостья, толстуха, кума, машинистиха, родом литовка. Она была низенькая и пыхла. Одета она была в пышное платье с прошивками.

Нацеловавшись, она пощипала детей, и хозяйка, цедя через хлеб, налила ей полчашки. Она проглотила. Лицо у нее стало масляным.

Обе довольные, они напоили детей кипятком и, постлав на полу, уложили их. Вбили три гвоздика в разных местах и повесили зеркальце в рамке, иконку и лампочку без абажура, к которой был сзади приделан рефлекторчик из гофрированной жести.

Потом ее сняли, зажгли, осмотрели при ее свете кровать и, обмыв ее и протерев керосином, расставили.

Гостья затем пожелала помочь еще разобрать сундучок. Он обит был брусничного цвета слюдой и полосками жести. Замок у него открывался с секретом.

Когда дошло дело до двух фотографий, она поднесла их к огню и одну за другой, отдаляя от глаз и опять приближая к глазам, с интересом рассматривала.

На одной была надпись «На память о браке моем сочетании», а на другой «В день отъезда на фронт».

Похвалив их за сходство, литовка, печальная, потрясла головой и вздохнула.

– А если бы, – предположила она, – он служил на железной, его бы не взяли.

Хозяйка опустила тогда на кровать. Там она, утираясь платочком с деньгами, повсхлипывала.

Она стала потом проклинать генеральшу Канатчикову, у которой в имении ее муж состоял в писарях.

– Не наймись он туда, – говорила она, – он бы, может быть, был на железной.

Расстроенная, она процедила оставшийся синенький и допила его с гостьей. Их души раскрылись, и женщины подо двинулись ближе друг к другу.

Они улыбались приятно и слушали, как в другом конце комнаты дети сопят.

– Нет, – задумчивая, глядя в сторону лампочки, заговорила мечтательно гостья: – Что-что, а железнодорожное дело – святое. Какое подспорье, что служащим предоставляют хотя бы, например, даровые билеты.

Счастливая, стала она вспоминать, как в Аральске она была за усачом, а в Иркутске – за хлебом. В Крым съездила и посмотрела на Черное море. Из Тулы неделю назад привезла самовар, а теперь собирается в Сызрань за яблоками.

Уходя, она вдруг повернулась. Борясь с нерешительностью, потупляющаяся и доброжелательная, она остановилась в дверях.

– И не трудно вам так, – сострадающая, проникательно глядя, спросила она, – как вдове, без мужчины?

2

Поев привезенного вчера с собой хлеба, все вышли на улицу. Мать заперла на ключ дом и отправилась, приказав дожидаться ее и никуда не ходить, на базар.

Дети радовались, что остались одни на свободе. Они покричали «кукушке» «ку-ку» и, дразня ее, стали скакать и плясать. Повалясь на дорогу, они хохотали. Потом они стали вздывать пыль ногами. Набрав ее в горсти, они ее сыпали себе на голову.

Из соседнего дома к ним вышел мальчишка в поярковой шляпе. Они окружили его. Он сказал, что отец у него земледелец, Василий Иванович, и что с другой стороны, где на крыше стоит жестяной петушок, живет «главный». Когда ему нужно на станцию вечером, он зажигает фонарь и несет в руке. Дочери его, девке, пять лет, и ее зовут Манькой. Жена его один раз отхватила себе дверью пол-уха. Работу у него в доме делает теща. Индюшек он держит зимой в утеплённом сарайчике. В поле их водит пастись сучка Джек.

Он сыграл на сопелке, достав ее из-за рубахи, и спел интересную песенку. Дети такой не слышали до этого:

Пора бабушке вставать.
Накормила,
На дубочек посадила.

Дуб, сломися,
Другой, народися.
Татарки,
Хохлушки,
Берите по палке
Там мост мостячь.
Там жеребцов крестячь.

Он рассказал им еще, что его зовут Яшкою, и что из мест, где война, едут беженцы, и что когда они будут здесь жить, то парнишка их будет ходить к нему.

Многое из того, что он тут говорил, сразу же и подтвердилось. Индюшка прошла с индюшатами, сопровождаемая сучкой. К изгороди подбежала из сада девчонка. Старуха, поставив ведро, догнала ее и оттащила, схватив за подол.

– Говорил я, – сказал тогда Яшка, и слушатели, изумленные, захохотали.

Их мать в это время шагала, помахивая на себя для прохлады платочком. Она краем глаза поглядывала на свое отражение в окнах. На ней была черная кружевная косынка и бусы из коралловых шариков. Юбка и кофта на ней были синие, новенькие, еще ни разу не стиранные и блестящие.

Улицы не изменились с тех пор, как она, еще маленькая, приходила сюда из деревни.

По-прежнему чередовались с заборами одноэтажные домики, были видны впереди каланча и украшенная синей маковкой и золоченым крестом колокольня.

На тех же местах были «Чайная», «Зало для стрижки», «Плиссе и гофре», и такие же толстые люди смотрели с портретиков, вставленных за стеклом у фотографа.

Так же, как и в то время, пыля на ходу, в камилавке и в валенках, брел без дороги отец Михаил и раскачивался, как медведь в балагане на ярмарке.

– Дунька Акимочкина, – узнавали ее и подходили к ней люди. Другие, воспитанные, говорили ей так: – Евдокия Матвеевна.

Все ее знали девчонкой еще, и никто ее не называл по фамилии мужа – Гребенщиковой.

Ей рассказывали между прочим, присев к ней на лавку, что Ванька Акимочкин, брат ее, в Преображение был пьян. Он хвалился у церкви и возле ларьков против станции, что он может Дуньку впустить, может выгнать, что дом не ее, а его, потому что он сам его ставил.

Взволнованная, она всем возражала на этом, что муж ее несколько лет понемногу давал Ваньке денежки, чтобы он закупал не спеша матерьял, и что Ванька сам строил, так это потому, что он плотник (железнодорожником сделался только во время войны), и за это ему шла часть платы, которую получали от Губочкиных, квартирантов.

– Вам надо управы искать на него, – говорили ей. – Надо бумагу составить: «До слуха до моего, мол, дошло» и – подать куда следует.

Несколько дрог на железном ходу, запряженных лошадей

ками, к мордам которых подвешены были дерюжные торбы, стояло у почты. Под липой сидели на пыльной траве их хозяева и бормотали, читая в тени «донесения главнокомандующего».

Гончарных дел мастер дед Мандриков тоже был здесь. Он жил в той же деревне, где жил и Авдотьян отец, и Авдотья обрадовалась.

– Дед, – сказала она, подходя, – вам богатому быть: не узнала я вас. Извините меня уж.

Она посмеялась немножечко и подала деду руку. Свой воз он оставил у Бондарихи, на заезжем. Авдотья его проводила туда.

– Мне и детям моим, – говорила она, – угрожает опасность. Пускай бы папаня заехал сюда. Я сама бы слетала к нему, но нельзя: не с кем бросить детей.

Деду Мандрикову было очень приятно с ней. Он улыбался и был обходителен. Он подарил ей газету.

– Газета сегодня, – сказал он ей, – не лишена интереса: мы что-то около ста человек взяли в плен.

Ей пришло тогда в голову, что хорошо бы дать знать про все мужу. Она завернула на почту, купила конверт, лист бумаги. Почтмейстер пожаловался ей, что, вот, завели эти новые марки и руки с трудом подымаются, чтобы класть штемпель на царский портрет.

«Благоверный супруг мой, – писала она, когда дети ее улеглись, – я одна без вас. Люди жалеют меня и говорят мне,

что я – как вдова».

От письма она с лампочкой переходила к простенку, где было повешено зеркальце, и, посмотревшись, возвращалась.

Она написала про Ваньку и больше всего – про хорошую смерть квартирантки их, Губочкиной: как она обошла всех знакомых и всем говорила: «А знаете, я ведь сегодня умру», а вернувшись – переделалась, легла и послала за батюшкой. Губочкину без нее не хотелось здесь жить. После похорон он собрался и уехал в Самару.

3

Авдотьяин отец подкатил к дому вечером двадцать девятого августа, в день «усекновения». Завтра у Шурки должны были быть именины, и деда просили остаться.

– Есть синенький-то? – спросил он, выпряг мерина и поместил его на ночь в конюшне у отца Яшки, Василия.

Дед был костлявый, борода у него была серенькая, стрижен он был под горшок. Он ходил в картузе и клеенчатой куртке.

Он снял сапоги и остался босой. Чтобы дети не трогали вожжи и кнут, он их спрятал на печку.

На улице было тепло, и Авдотья с отцом, выпив синенького и задув в доме лампочку, вышли во двор. Они сели на дроги и, скрючась, беседовали.

Подымался и утихал лай собак. То далёко, то близко гудели иногда паровозы. «Кукушка», проносясь то туда, то назад, тарахтела.

В конюшне Василия лошади переступали. Звезда иногда отрывалась и падала.

Дочь рассказала отцу, как, съезжая со двора генеральши Канатчиковой, продала свою Катьку, корову, и как трудно жить. Рассказала про Ваньку.

Отец был красильщик и возчик. Он красил холсты в деревнях и возил бревна к пристаням.

– Слушай, – сказала Авдотья и высчитала, что, живя возле станции, он бы мог целиком перейти на извоз.

Они долго прикидывали, и уже петухи прокричали, когда они договорились, что дед переедет сюда.

Возбужденные, они наконец вошли в дом и прикончили синенькое, припасенное к завтрашнему именинному дню.

Под Воздвиженье дед переехал. На дрогах привез утром скарб, выпряг мерина и поскакал на нем за тарантасом и бабкой.

Она была низенькая, в ватной кофте, сужавшейся в талии, в черном, с горошинками, сарафане и в красных сапожках. Она перекрестилась, войдя, и, сняв пестрый платок, осталась в сатиновом черном чепце.

Дед и бабка устроились в кухне. Кровать у них была деревянная, и нарисованы были на ней два кувшина и лев между ними.

В сенях дед развесил парадную сбрую. Она была с бляхами. Шурке при этом он дал держать вожжи. Они были вязаные, шерстяные, зеленые.

Бабушка была из староверок. Иконы у нее были черные. В угол она поместила Иисуса Христа, а по бокам – Богородицу и Иоанна Предтечу. Он был страшный, с крыльями, с чашей, а в чаше у него был ребеночек.

Перед иконами бабка прибила к стенам треугольную полочку и прикрепила к ней ситцевую пелену, а на полку поставила круглую штучку с отверстиями и сказала, что это –

кадильница.

Стали жить. Дед поставил плетень перед домом, построил сарай, навозил дров, картошки, набил сеновал.

Иногда он в свободное время решал почитать и, открыв сундучок, доставал из него очень толстую книгу, которая называлась так: «Правда дороже, чем золото».

Весь сундучок изнутри был оклеен картинками, и из него соблазнительно пахло. Для запаха дед в нем держал десять черных стручков. Говоря о них, он называл их «рожками».

Дед клал эту книгу на стол, придвигал табуретку. Очки у него были связаны сзади веревочкой. Он надевал их и начинал читать вслух.

Когда он сел читать в первый раз, все явились, заинтересованные, и расположились вокруг.

– Вот, – сказал он и прочел, что «не должно избегать встреч со священником».

– Некоторые, – читал он, – считают, что встречи сии предвещают несчастье. Но мысль сия внушена самим дьяволом.

Знатный московский купец, выйдя из дому, встретил в дверях поспешавшего на урок к его детям законоучителя и обратился назад.

– Не страшитесь, – ободрил его иерей, – но идите, и я говорю вам, что вы получите прибыль.

И что же? Купец торговал в этот день с такой выгодой, как никогда.

На Кавказе один суеверный полковник, идя в поход,

встретился с шедшим домой по совершении некоей требы пресвитером и приказал своим воинам плюнуть. И тут же настигла его мусульманская пуля, и он испустил вскоре дух.

– Это верно, – сказала Авдотья. Ей вспомнилась встреча с отцом Михаилом и после него – с дедом Мандриковым. – Иногда и священника встретить – не к худу.

В базарные дни заезжали иногда к деду с бабкой какие-нибудь старики из деревни. Дед Мандриков тоже заглядывал по временам и докладывал, сколько мы опять человек взяли в плен.

Иногда, когда в церкви давали «листки из Почаева», он заходил почитать их вдвоем.

Начинались морозики. Кадку с водой из сеней внесли в кухню, «зал» стали топить. Утром поле и соседние крыши совсем были белы. Плетень и примкнутый к нему рыжей цепью с замком тарантас по утрам были тоже как будто посыпаны солью.

Все меньше удавалось бывать на дворе. Было скучно. То-мясь, дети часто принимались мечтать о парнишке из беженцев. Если бы он приходил к ним – как здорово было бы.

С Яшкой они теперь редко встречались. Встречаясь, справлялись, приходит ли этот парнишка к нему, но парнишка еще и к нему не ходил.

Раз вошел, постучась, сын Ивана Акимочкина Аверьян с сундучком и, поставив его, объявил, что пришел сюда жить.

– Не хочу, – сказал он, – покоряться.

Он начал ругать свою мачеху и рассказал, как она придирается, и как наушничает, и как отец его из-за нее в позапрошлом году до того избил Ньюрку, которая была тоже от первой жены, что она и сейчас еще чахнет.

– Ну что же, – сказала Авдотья, смотря на него. – Проживай себе.

Стлать она стала ему на полу, там, где детям, и дети, ложась, уговаривались, если кто-нибудь ночью проснется, будить остальных, чтобы слушать всем вместе, как он интересно храпит.

Через два дня на третий он ездил на соседнюю станцию, где он работал в депо, и дежурил. Когда его не было, дети вытаскивали из кармана его праздничной куртки конверт с фотографиями, на котором напечатано было: «Секретно. Мужчинам-любителям. Жанр де Пари»,¹⁶ и смотрели их.

¹⁶ В парижском роде, т. е. нечто фривольное (фр.).

4

У земледельца Василия Ивановича были похороны. Его Яшка с парнишкой из беженцев пробовал лед на пруду. Оказалось, лед был еще слабый, и Яшка, идя впереди, провалился.

Авдотья решила пойти проводить его. Бабка ее поддержала.

– Кого мы провожаем, – сказала она, – тот нас выйдет встречать на том свете.

Дед тоже решил идти.

– Скоро нам, – пояснил он, – придется просить господина Василия, чтобы он на зиму принял к себе тарантас.

И тогда все оделись и вышли и заперли дом на замок.

Было очень приятно на улице, тихо и солнечно. Точно весной, на дороге попрыгивали и почирикивали воробьи.

Долговязый, задрав кверху голову, на квартал впереди шагал главный. Жена семенила с ним, низенькая, и, оглядываясь, торопила девчонку, которая не попевала.

– Рассчитывают, – сказал дед, – что весной будут брать у Василия плуг для картошки.

У станции вспомнили Ваньку, как он здесь бахвалился в Преображение, и посмеялись, а переходя через линию, глянули на устроенное между главными и запасными путями «отхожее место для пленных», и всем пришел в голову

Мандриков.

Церковь стояла среди большой площади беленькая, ее крестик блестел, и казалось, что небо, везде чуть голубенькое, над ней было совсем густо-синее.

Детям Авдотья дала по копейке для нищих, и нищие что-то пропели им и поклонились им в землю.

Ждать в церкви пришлось не особенно долго. Обедня уже отошла, началась панихида, и дела отцу Михаилу с дьячком Виноградовым было всего на каких-нибудь четверть часа.

Блестя лысиной, главный стоял впереди и крестился. Он был выше всех. А на мертвого дети старались не взглядывать. Желтый, с бумажной полоской на лбу, он пугал их. Никто не сказал бы, что он так недавно играл им на дудке и пел интересную песенку про жеребцов.

Хорошо показалось, когда опять вышли на улицу. Солнышко чуточку грело, и воздух подрагивал. В небе ни облачка не было. Кисточки ягод краснелись еще кое-где на верхушках рябин.

Подоспела литовка, кума, и, пристроясь к Авдотье, болтала.

Она сообщила, что беженцы соорудили в порожнем амбаре костельчик и там очень мило. Ей есть теперь где помолиться по-своему. Пленные тоже заходят туда. Они очень воспитанные, и заметно, что с образованием.

Вдруг она стала таинственной и, оглянувшись, спросила:
– Ну как Аверьян?

– Он такой, – ковырнув рукой в воздухе и сделав губы кружочком, сказала она, а Авдотья, отведя глаза, стала к чему-то присматриваться и спросила, какая это видна там железно-дорожная линия.

– Это, – ответил ей дед, – идет ветка на Серные воды.

Он начал рассказывать, как он возил туда лес для железнодорожного доктора Марьина, разбогатевшего тем, что он делал людей непригодными к воинской службе, и строившего в Серных водах два домика, чтобы сдавать их внаймы.

Этот день, необычно начавшийся, дед захотел и закончить по-праздничному. Когда стало темно, он зажег в кухне лампочку и, открыв сундучок, достал книгу.

Опять все пришли и уселись вокруг, чтобы слушать ее.

Дед раскрыл где пришлось и прочел им о женской неверности. Случай с Пентефрием и похотливой женой его всех позабавил, и все посмеялись над ней, что она была старенькая, а полюбила мальчишку, Авдотья же стала ее выгораживать и говорить, что ей, может быть, не было даже и тридцати еще лет.

– Ну да что там, – сказала она, поднялась, погнала детей спать, напихала белья в два котла, залила и поставила в ночь – мокнуть к завтрашней стирке.

Когда, отстиравшись, она собралась на ручей полоскать, к ней явилась литовка. Работы у нее было мало, и она могла сколько угодно расхаживать.

– В Рыме, – сказала она, входя, – быть и попа не видать.

Я ходила сейчас к мадам главной и вот зашла к вам.

Очень шумная, расцеловав надевавшую наскоро на голову поверх чепчика черный платочек с горошками бабку, она обхватила Авдотью за талию и повлекла ее в «зал».

Там она рассказала о беженцах и о приехавшем с ними прекрасном ксендзе, хорошо исповедующем, а Авдотья еще раз с ней вспомнила, как хорошо умерла квартирантка.

– А где Аверьян? – оглядев потолок, словно думала, будто он может быть там, вдруг спросила литовка.

Она захотела узнать то и се, почему он работает на другой станции, и что он делает дома.

Авдотья ответила ей, что там – «узел», проходят две разных дороги, и он – на другой, потому что на здешней – сам Ванька, и если бы тут же был и Аверьян, то это было бы слишком заметно и люди болтали бы, что вот оба они укрываются.

Дома же он очень мало бывает. Он любит играть на гармонии, а у него ее нет, и он ходит играть на чужой.

– Молодые всегда так, – сказала кума и, сжав губы, внушительная, посмотрела Авдотье в глаза.

Когда выпал уже первый снег и раскис, по грязище, ругаясь, пришла почтальонша Софროновна и принесла письмецо.

Это муж писал с фронта. Он хвастался, что не дает спуска немцам, предостерегал Дуньку от кавалеров и кланялся всем, а Ивану Акимочкину он просил передать, что, вернув-

шись, расправится с ним, как с германцем каким-нибудь.

Деду понравилось это письмо, и Авдотья ему подарила его. Он прочел его Мандрикову, когда тот завернул, и тот тоже одобрил.

У Мандрикова в этот день оказалась с собою ханжа. Все подвыпили. Дед стал плясать среди кухни, а бабка, которая не смогла встать со стула, сидела, ударяя в ладоши, раскачиваясь, и, веселая, пела:

– Танцуй, Матвей,
Не жалея лаптей.

Тут в трубе стало выть. Когда выглянули, на дворе оказалась метель, и пришлось деду Мандрикову ночевать.

Перед сном поглядели портреты царей, фотографии разных церквей, напечатанные в книге «Правда дороже, чем золото», потолковали о том, что Толстой, говорят, тоже пишет.

– Священные книги, – сказал дед Матвей, – сорок раз переписаны были, и в них получились ошибки. Там пишется о подставлении левой щеки, а Толстой отвечает на это: «Да так он тебя и совсем уььет».

Все посмеялись, а Мандриков рассказал, что есть книжка про храмы: они – свалка камня, слитие золота и серебра.

– Аверьян ужасно интересный, – удивлялись дети, когда он, подкравшись, схватывал кого-нибудь из них внезапно за подмышки и подбрасывал так высоко, что в животе щекотно становилось.

Иногда он брился, и тогда он отгонял всех, – или чинил примус. Иногда был весел, щелкал пальцами и напевал, при-топывая:

Кекуок известный
Танец повсеместный.

Часто ему снилось, что к нему подходит кто-то, наклоняется и трогает его, а он старается проснуться и не может.

Один раз после того, как он опять увидел это, дети посмеялись над ним и сказали ему, что это не сон, и что их мать на самом деле подходила к нему ночью и, присев возле него на корточки, дотрагивалась до него.

– Да, – согласилась она, – это, правда, было. Я хотела разбудить его, а то он очень уж храпел, да так и не решилась, как-то жаль стало его.

– Ну, в следующий раз решайся, не жалей, – сказал он, и она два раза после этого будила его.

Уже дело подходило к Масленице, когда в дом явился

вдруг однажды малый в серой куртке, перепачканный мукой, и подал письмецо в конвертике и сверток.

– Аверьян-Иванычу от Ольги Федоровны, – объявил он. Сверток очень хорошо был упакован, а конверт был деловой, с печатной надписью: «Колониальные товары. Ф. Суконкин».

Аверьян работал в это время. Все ехидничали и с огромным интересом дожидались его.

Вечером он прибыл, наконец-то. Он прочел письмо. Он бросил его в печку и поохотал немного.

– Влюблена и хочет познакомиться, – сказал он. Он поджег веревку спичкой и распаковал посылочку.

В ней оказалась булочка с изюмом, вроде кулича, обсахаренная, домашнего изготовления, и ликерчик в глиняной бутылочке.

– Ах, – крикнул Аверьян, схватил его и поднял всем на показ, а дед расчувствовался и сказал, что это – из за пасу.

Бабка же нюхнула бутылочку и, дернув носом, повертела головой.

– Не с приворотною ли травкой, – догадалась она.

Молча Аверьян тогда вскочил, схватил кухонный нож, резнул два раза и с куском, не надевая шапки, выбежал.

– Вот кятр, – удивился дед.

Авдотья посмеялась и, пожав плечами, убрала бумагу и веревочку.

Бумага эта оказалась объявлением – из тех, что перед

Рождеством расклеили на всех углах поселка: холодно в окопах – жертвуйте солдатам теплое белье. Пожертвования принимают доктор медицины Марьин и потомственный почетный гражданин Суконкин.

Аверьян примчался торжествующий и, в высшей степени довольный, сообщил, что добежал до главного, покликнул сучку Джека, и она не стала этой булки есть.

Тогда решили сжечь ее, чтобы ее не наглotalись дети или куры, а к ликерчику присели и, отправив детей спать, распилили его.

Он был запечатан, и в него подсыпать ничего нельзя было, но бабушка сообразила, что бутылочка могла быть наговорена, и, чтобы обезвредить ее, обкурила ее, положив из печки уголек в кадку. Аверьян форсил и задавался, говорил, что Ольга выдра и свои припасы понапрасну израсходовала.

Дед блаженствовал, потягивая, бабка хлопала глазами и закашливалась, а Авдотья, словно опьянела больше всех, без толку похохатывала и хватала Аверьяна за руки.

Когда же, перейдя из кухни в зал, они уселись по своим местам и начали укладываться, то она спросила, что бы он ответил, если бы не Ольга, а она любила его.

– Глупости какие, – сказал он. – Во-первых, ты мне родственная тетка, во-вторых – лет на десяток старше меня, и поэтому я не могу воспринимать подобных чувств.

«Ах, супруг мой, – вскоре после этого отправила Авдотья письмо, – вы мне глаза кололи кавалерами. Но где они?»

Нет низкого такого. Я одна. Нет никого, к кому бы можно было прислонить мне голову».

«Жить трудно. Стирки стало меньше из-за этих беженцев – всё бабы ихние перебивают».

«За детьми смотреть не успеваю. Они водятся бог знает с кем и пальцами изображают глупости».

«Хотя бы вы на время отпросились сюда. Некоторые ведь приезжают на побывку».

На письмо это она не дождалась ответа. С почты ничего ей больше не было. Софроновна два раза появлялась в их конце, но заходила во двор к главному.

Снег стаял. Куры сели выводить цыплят. Стреножив мерина, дед стал пускать его на дерн. Поле начали пахать.

У сучки Джека родились щенята, черные с коричневым, и дети бегали смотреть, как теща главного их топит.

Тарантас опять стоял у дома – на цепи, с замком, как лодка, а за то, что земледелец принял его на зиму к себе в сарай, дед земледельцу отработывал.

В конце поста говели. Бабушка, идя к причастью, нарядилась в поясок с молитовкой. После причастья ели студень и весь день старались не грешить.

Под Пасху были у заутрени. Полюбовались огоньками плошек. Посмотрели на ракеты и послушали хлопушки перед церковью.

Какому-то мальчишке прострелило из хлопушки ногу. Он орал, пока его не утащили, и, столпясь вокруг, все слушали.

Уже позеленели ивы над канавами, и мошки появились. С каждым днем все позже опускалось солнце и садилось все правей, все ближе к трубе сахарного.

Дети, подмигнув друг другу, стали удирать во двор и, прошмыгнув под окнами, шататься по поселку.

Иногда они отыскивали Аверьяна у чьего-нибудь забора. Он играл «На сопках» на чужой гармошке, а его друзья отплясывали посреди дороги с девками.

Тогда, взобравшись к Аверьяну на скамейку, дети оставались с ним и вместе возвращались в темноте.

Они цеплялись за него, старались не отстать и тоненькими голосками разговаривали с ним о его картинках для мужчин.

– Ой, – затыкая уши и оглядываясь, восклицал он и учил их говорить прилично, например – «пистон поставить».

6

«Дети наши шлятся, – отправила Авдотья письмоцо на фронт, – и у меня нет сил что-нибудь сделать с ними».

«Я возьмусь лупить их, а они меня комплиментируют подобными словами».

«Тарантас у нас украли – кол тот вытащили из земли, к которому он был прикован».

«Тарантас этот отец купил недавно, когда ехал к нам. Теперь и денежки пропали и доходы меньше сделались».

«Должно быть, мне придется, дорогой супруг мой, отослать двоих детей на время к вашему отцу и к вашей тетеньке – которая просвирня».

Снова она стала поджидать Софроновну и выбежала ей навстречу, когда она ошупью, читая на ходу, вошла во двор с открыточкой:

«Я девка, – сообщала о себе просвирня, – и не очень смыслю в детищах. Но ладно, все равно, везите, я управлюсь как-нибудь».

С недельку еще медлили и наконец решились. Дед впряг в дроги мерина, набил травой мешок и положил его на дроги.

Все присели в кухне, встали и, подавленные, вышли. Дед уселся с девочкой. Перекрестились и, когда телега завернула за угол и стука ее колес не слышно больше стало, молча возвратились в дом.

А к дому приближалась уже и опять несла письмо Софроновна.

– Вам пишут, не гуляют, – снисходительно сказала она.

Это свекор извещал Авдотью, что он скоро соберется в отпуск и тогда приедет и возьмет ребенка.

Письмецо это все очень похвалили, дед Матвей сказал, что почерк замечательный, Авдотья оживилась и еще раз рассказала, что отец ее мужа – писмоводитель, потому что у него простуженные ноги и другой работы из-за этого он никакой не может выполнять.

И, как и каждый раз, и дед и бабка с интересом это выслушали, покачали головой и, щелкнув по два раза языком, одобрили.

Он прибыл, и ему гостеприимно предоставили весь зал. Он спал там на кровати, а Авдотья ночевала в кухне на печи. Мальчишек же и Аверьяна выпроводили в сарайчик.

Дед Гребенщиков был жилистый, носил бородку клином и поверх рубахи надевал коричневый пиджак. Штаны на нем были сатиновые, черные, и по причине ревматизма он ходил не в сапогах, а в валеных калошах.

Он приехал вечером, а утром, обстоятельно поговорив со всеми, пожелал пройтись.

– Ну, Шурка, – подмигнув, сказал он, – ты меня веди, а завтра я тебя буду везти.

Тут он, довольный, посмотрел на всех, и все поохотали.

Тогда Шурка подошел к нему и подал ему руку. Он был

низенький и важный, с красными щеками. Он надел картузик, и они отправились.

Неторопливо они шли, смотрели на ходу направо и налево и беседовали, а увидя лавку, заходили внутрь и приценивались.

Около вокзала дед купил себе и Шурке по стакану кваса и по прянику, а Шурка рассказал ему, как Ванька здесь хвалялся под Преображенье, что продаст их дом и выгонит их.

– Ишь ты, – понегодовал на Ваньку дед, и скоро перед ними оказалась площадь, и на ней бараки и вагоны без колес.

Дед очень был доволен, когда Шурка сообщил ему, что это – помещения для беженцев.

Он быстро огляделся, высмотрел скамейку, поспешил к ней и расположился.

Вынув из кармана пиджака пенсне, он живо насадил его на середину носа и признался, что еще не видел, что это за люди – беженцы.

Тут Шурка удивился, и они, притихнув, стали смотреть молча на мужчин и женщин, выходивших из барачков и опять входивших, а потом к ним села, чтобы лучше разглядеть их, молодая мать с ребенком и они потолковали с ней.

Застенчивая, оправляя кофту и вздыхая, она им рассказывала, как в тот город, где она жила, прислали первых раненых и понесли от станции до лазарета, забинтованных, а люди подбегали к ним и клали на носилки деньги и расстраивались, а потом привыкли, проходили мимо и не взгляды-

вали даже.

А когда солдаты стали отступать и угонять с собой скотину, чтобы не досталась немцам, было слышно, как за городом кричат коровы, потому что их не кормят и не поят, и тогда опять очень расстраивались люди.

– Всякого, должно быть, движимого можно было по дешевке закупить там, – сказал дед. Он поднялся и снял пенсне: – Ну, что же? Мы не будем более задерживать вас.

И они простились с ней и завернули на базар и там договорились с мужиком, который собирался завтра ехать по своим делам в Богатое, узнали цены и отправились домой, довольные друг другом и держа друг друга за руку.

На следующий день подъехал их извозчик, все присели в кухне, вышли и столпились возле отъезжающих и стали пожимать им руки.

– Шурочка, – расчувствовалась бабка и, закрыв лицо передником, завсхлипывала, – может быть, я не дождусь тебя, – а дед Матвей тихонько рассказал Гребенщикову, как один раз поругался с ней и крикнул ей, чтобы она издохла, а она ему – чтоб он; они поспорили, кто будет первым, и решили тянуть жребий, и вот жребий выпал ей.

– Большой бы ты был, Шурка, я велела бы, чтобы писал мне, – всхлипнула и мать, и Шурка ей ответил:

– Я неграмотный.

Приятно было ехать то между полями, то между лесочками, греметь по мосткам, смотреть на стайки птичек, то взле-

тающие, то спускающиеся, то выпрямляющиеся, то загибающиеся углом на пестрые стада, деревни с колокольнями и мельницами и купальщиков, бросающихся с бережков в ручьи.

В Богатом ночевали у Маланьи Яковлевны на заезжем, пили чай, и кипяток им приносили в большом чайнике с цветами. Шурке дед давал есть пряники и пояснял при этом, что теперь он не у матери, где видят только корки.

Утром они вместе умывались у крыльца и лили из ведра друг другу на руки, потом молились на Маланьины иконы, снова пили чай, ходили на базар, приценивались, сговорились с мужиком до Земляного и по случаю купили «Утешение болящим», сочиненное епископом Петром и отпечатанное в городе Казани.

Дорога пошла дальше степью. Ехать скучно было. Дед достал из сумки «Утешение» и стал читать его.

Болезнь, напечатано в нем было, может привести нас к смерти или кончиться выздоровлением.

Смерть может быть тяжелая и легкая.

Тяжелую обычно умирают грешные, а легкой – праведные.

Но бывает иногда, что праведные умирают трудной смертью, грешные же – мирною и безболезненною, и сие пусть не смущает нас.

Нет праведника, у которого бы не было ни одного греха, и чрез мучительную смерть Бог подает ему возможность искупить сей малый грех еще в сей жизни и избегнуть воздаяния за оный в жизни будущей.

Когда же грешник умирает легкой смертью, это значит, что ему не посылается возможность искупить предсмертными мучениями часть его грехов, и что за все он будет отвечать за гробом.

Но не следует при виде трудной смерти думать, что она дается умирающему в наказание за грех.

Так помышляя, мы бы согрешили сами, ибо осудили бы его. Нам надлежит предполагать, что это Бог его испытывает.

Часто при заболеваниях употребляются лекарства. Но без

воли Божьей ни одно лекарство не подает болящему какого-либо облегчения, и если иногда лекарство помогает, это значит лишь, что Бог снабдил его на этот раз целительной силой, чтобы чрез его посредство ниспослать уврачевание болящему.

Однако из сего не следует, что должно отказаться от употребления лекарств, ибо может быть, что Бог как раз желает исцелить болящего через сие лекарство.

Посему нам должно:

а) молиться, чтобы Бог снабдил лекарство исцеляющею силой;

б) вкушать лекарство.

– Эта книга, – сказал дед вознице, – очень умная. Заметил, как в ней все показывается и так и этак, и еще по-третьему? И это очень правильно. О всяком деле можно рассуждать и так и этак.

Стало припекать. Полынью стало пахнуть. Философствующих начало морить.

Они покрепче сели, заклевали носом и, дремля, доехали до мельницы Земляного.

Тут извозчик вскрикнул, лихо покатались и через минуту, очутясь у церкви, соскочили на землю.

Простясь с ним, дед посоветался с Шуркой, и они решили, что нет смысла им идти на постоянный, и остановились на ночь у Мусульманкула Исламкулова, который торговал вразнос иголками и пуговицами.

Он очень мило принял их, любезно улыбался, говорил им: – Ай! – и брал их за руку и тряс ее обеими руками.

Он был в синей куртке, толстый, и на пальце у него было серебряное обручальное кольцо.

Он усадил их во дворе у грядки с ноготками, и они весь вечер пили втроем чай.

Слетелись из потемок на огонь их лампы бабочки и бились об нее.

Таинственные, наклоня на бок голову по временам, чтобы послушать лай собак вдали, поговорили о делах, и дед сказал: – Мусульманкулушка, – и выразил готовность сколько-нибудь времени не спрашивать должок.

Расчувствовавшись, он проникновенно начал говорить об умном – как мы обо всяком деле можем рассуждать двояко.

Переночевали, и Мусульманкул сказал им: «С добрым утром, батюшка!», – и стал прислуживать им. Он принес воды и лил ее им на руки из медного кувшина.

Не засиживаясь, они выпили по несколько стаканов чаю и поели воблы.

– Кто это тут едет? – постучал в окно извозчик, и они отправились.

Хозяин, стоя на крылечке, что-то крикнул им. Они оборотились. Он расставил руки и прижал их к сердцу, важный и умильный.

Снова была степь. Смотреть надоедало. Солнце начинало жарить. Путешественники, спрятав языки, покачивались,

ся, и дремали.

Уже зной спадал, и между облачками, белая, уже стояла косо, словно наклоняясь над водой, луна. Вдруг дроги подскочили так, что зубы у всех лязгнули, и побежали по уклону к мостику. Прогрохотали, въехали и очутились в деревушке с глиняными избами и глиняными невысокими заборчиками.

Избы эти были выбелены, и по белому на них наведены были цветною глиной разные узоры и рисуночки.

Здесь дед и Шурка слезли и пошли к избе с подсолнухами и с картинами «две девки» и «цветы в горшке».

– Дворы у нас, – сказал дед Шурке, открывая перед ним калитку, – крытые, а то бы их из степи заносило снегом.

Выбежала бабка в темном сарафане, синем фартуке с карманами и сереньком платочке и засуетилась.

– Ах ты, котик мой, – сказала она Шурке и, присев возле него на корточки, пустилась тормошить его.

Он высвободился и, ухватясь одной рукой за деда, а другой отряхиваясь, зашагал с ним в дом.

Как там, откуда он приехал, в доме была кухня и еще другая комната.

Она здесь называлась «чистая», и в ней висели между окнами два зеркальца, украшенные бантами, и две картинки в рамках: «Радко Дмитриев» и «Фиорая».

Пока грелся самовар, гудя, и дед расспрашивал старуху о хозяйстве, отворилась дверь, и в дом вошли солдаты.

– Здравия желаем, – крикнули они и стали у порога.

Тут все посмеялись, глядя на них. Оба они были одинаковые и похожие на деда, узкие и жилистые. Петр был контужен, а Иван уволен в отпуск на покос. Приехали они недавно и еще не выветрились, и от них несло казармой.

– Натe пять, – приветствовал их Шурка, не вставая с места и протягивая руку.

– Ладно, – сказал дед. – Садитесь и докладывайте, – и они уселись и, куря махорку, доложили ему, что начнут завтра косить на арендованных участках, послезавтра – на своих, что обошли всех должников и всем им сделали распоряжения.

Должники косили, а Иван и Петр наблюдали и командовали. Дед пришел позднее.

Веда Шурку за руку, он обошел участки, говорил «Бог помощь», надевал пенсне и слушал, что ему докладывали.

Бабушка с харчами и питьем приковыляла в полдень. Дед, поев, ушел с ней, а солдаты смастерили тень, и Шурка похвалил их и улегся с ними. Тут он подружился с ними и с тех пор всюду стал ходить за ними.

Скоро пришло время Ваньке уезжать, и Петр впряг в телегу лошадь, чтобы отвезти его.

Соседки собрались перед избой взглянуть. Солдатки, оказавшиеся среди них, заголосили.

– Вам-то что? – тихонько говорил им грязный старикашка Тишка и подталкивал их.

Деду тут же донесли об этом, и, приблизившись к Тишке, строгий, он надел пенсне.

Недолго уже оставалось и ему быть дома. В понедельник утром, выпустив скотину, бабка запрягла. Дед с Шуркой кончили свой чай и оба покрестились. Дед набросил на одно плечо пыльник и взял корзиночку с харчами – без углов, овальную, с какою ездил «главный», – и брезентовый портфель.

Дом заперли. Ворота за собой закрыли. Шурка крикнул «но», и бабка тронула вожжами лошадь.

До конторы, куда деда надо было отвезти на службу, было десять верст. С дороги разглядели вдали Петьку, с должниковым малым Ленькой подымавшего пары. Махнули ему шапками, но, занятый работой, он не смотрел по сторонам.

Контора была каменная, и над ней была пристроена светелка. В ней жил дед, когда служил.

Все поднялись туда. Сушеная трава висела над кроватью – предохраняющая от клопов. На столик положили «Утешение болящим».

Бабка прибрала немного и открыла окна.

– Липа во дворе цветет, – сказала она. – Вот, Евграфыч, ты пособирали бы, да и посушил нам на зиму.

В субботу они съездили за ним и взяли то, что он им насушил, а вечером, когда он слушал доклад Петьки, щелкая счетами, снимал и надевал пенсне, жевал губами, – неожиданный, пришел Мусульманкул.

Картинно он развел руками и раскланялся.

– Почтение, – сказал он и спустил с плеч тюк.

Он ночевал. Сидели долго в «чистой» вокруг лампочки и распивали липу. Говорили о делах. Откладывали числа косточками счет. Дед жаловался на завистников и рассказал про Тишку.

Петька тут вскочил и, стукнув себя в грудь, соорудил страшное лицо.

– Я головы бы им пооборвал, мерзавцам, – принялся кричать он. – Почему я до сих пор не знал про это?

Мусульманкул, приятно улыбаясь, показал обеими руками в его сторону, а туловищем шевельнул в другую.

– Молодость, – сказал он и полюбовался. – Порох. Ах, какая кровь.

А дед приподнял руки и держал ладони рядом с головой. Когда же Петька перестал шуметь и сел, он начал философствовать и говорить, что обо всяком деле можно рассуждать двояко, и что даже если взять разбойника, которого мы ненавидим, то окажется, что и ему необходимо чем-нибудь прокармливать себя.

Так каждую субботу бабка с Шуркой за ним ездили и каждый понедельник снова отвозили его. Петьку теперь редко можно было видеть. Он, распорядившись должниками и поденщиками, убирал пшеницу.

В это время Шурка с разными приятелями бегал по деревне, уходил на речку и за крайним домом, сняв с себя рубаху, надевал ее на пузо, словно фартук. Зубы у него вываливались, и сквозь дырки он стрелял плевками. Петька один раз остриг его большими ножницами для овец, как стриг баранов, косяками и ступеньками, и он расхаживал, пока не оброс снова, с пестрой головой.

Был праздник. Выпили денатурата за обедом. Дед надел пенсне.

– Сын Петр, – произнес он важно и спросил у Петьки, не намерен ли он взять себе жену.

Тут Петька встал во фронт и крикнул: «Рад стараться!».

Шурка подмигнул ему, и бабка оживилась и сказала, что тогда ей делается легче.

Осень наступила уже. Все работы наконец закончились, и на краю деревни, где одна против другой были две кузницы, в избе солдатки Яковлевой, посиделки начались.

У Яковлевой оказался бубен, и когда она плясала, низенькая, черная, растрепанная, как цыганка, и вертлявая, то подымала его вдруг над головой и, вскрикивая, ударяла в него.

Петька каждый день ходил туда, и Шурка отправлялся с ним. Он очень веселился там и падал на пол со смеху, когда жгутом из полотенца колошмятили кого-нибудь, кто проиграл в игре.

Все уже знали там, что Петьку дед решил женить, и девки к нему льнули, а мальчишки около него скакали и проделывали пальцами увеселявшие всех знаки.

Из Богатого дед выписал портного Александрыча, который ходил шить по деревням, и он сидел, благообразный, с серенькой бородкой, скрестив ноги, на столе и шил для Петьки свадебное, а для Шурки шубу, деду же и бабке штопал и перелицовывал.

Как выяснилось вскоре, он знал деда Матвея и знаком был с Мандриковым. Он хвалил их. Шурка полюбил сидеть возле него и слушать, как его один раз взяли в плен разбойники и продержали его, пока он их не обшил всех.

Свадьба была пышная. В деревне церкви не было, и ез-

дили венчаться в ближнее село. На дугах с колокольчиками красовались полотенца, гривы и хвосты у лошадей заплетены были и перевиты лентами. Для смеху баб и девок из саней вываливали в снег.

Плясали под игру гармошечников, угощались, распивали пенное и брагу до рассвета. Яковлева била в бубен. Утром именитым женщинам показывали на рубахе, снятой с Петькиной жены, пятно.

Молодоженам уступили «чистую», а старики и Шурка поселились в кухне. Дед и бабка называли Петькину жену «молодка» и пристроили ее к уходу за скотом.

Черноволосая и толстомясая, она ходила вперевалку. Часто Петька схватывал ее в охапку и, держа ее, звал Шурку ее шлепать.

Все смеялись тогда.

Шурка, в новой шубе и в ушастой шапке, в черных валенках и в шарфе, и перчатках из домашней шерсти, низенький и красный, по утрам ходил кататься с горки. Девки и мальчишки, мужики и бабы, гогоча, валились в розвальни и с гиканьем летели сломя голову в овраг. Щекотно было в животе, захватывало дух и весело было.

Зима подходила к концу, и дни сильно прибавились, но очень холодно было – стояли морозы, и северный ветер дул.

Бабка сказала, что если к субботе не станет теплей, то она не поедет за дедом – пусть Петька потрудится.

Петька ответил, что он это может и даже не знает, об чем разговор.

В это время явился вдруг дед. Он приехал с «оказией».

– Ну-ка, солдат, – сказал он, снял тулуп, размотал шарф и повел Петьку в «чистую».

Там они долго советовались. Потом, выйдя, они объявили, что, кажется, скоро уже будет мир.

Закусив, дед уехал, а Петька не вытерпел и рассказал, что царя больше нет.

Неожиданно им через несколько дней написала Авдотья. «Теперь-то ужо, – рассуждала она, – верно, скоро отпустят солдат. Он приедет, и я возьму Шурку».

Она сообщила еще, что на Масленице ее мать умерла.

Прочитав это, дед рассказал про нее, как она с мужем бросила жребий и ей выпала первая смерть. Все дивились, а Шурка был горд, что история эта произошла с его родственницей.

– Это что, – похвалялся он, – там и не то еще было, – и он принимался описывать им смерть Губочкиной.

Между тем время шло, а война не кончалась, и дед привозил неприятные новости: черный народ разнахальничался, стал завидовать тем, кто себе что-нибудь заработал, и грабить.

– Сын Петр, – учил он, – сейчас надо жить незаметно, ни в долг не давать никому, ни в аренду не брать ничего, а возделывать, не суетясь, свой надел... Шурка будет тебе помогать.

– Это да, – кивал Шурка, – могу.

Пришло время, и они вышли в поле вдвоем. Они жили в палатке, варили еду на кострах и ложились по очереди, чтобы жулики не увели лошадей.

Раз к палатке явился верблюд из села, куда ездили в церковь, хотел стащить хлеб и свалил ее. Было о чем рассказать потом.

Бабка, когда на короткое время они приезжали домой, умилялась.

– Голубчик ты мой, – говорила она, – помогаешь, – и Шурка был рад и, довольный, примерно держал себя, не удирал, приносил в дом пользу, смотрел, не попала ли в воду та курица, которая водит гусят, или гнал с огорода теленка.

Однажды теленок напал на него и, сбив с ног, стал бодать, а молодка, ходившая глянуть, готова ли баня, спасла его. Бабка дала ему выпить крещенской воды, с него сняли рубаху, надели ее на него назад пуговицами и велели ему полежать. Потом бабка отправилась в баню и Шурку взяла с собой. Мыла тогда уже не было. Мылись раствором, в кото-

ром мочили овчины, и шерсть попадалась в нем.

Осень прошла. Наступила зима. Дед по-прежнему по недельникам ездил в контору, потом приезжал по субботам и вечером, сидя за чаем, беседовал и наставлял.

– Мир навряд ли теперь будет скоро, – однажды сказал он. – Самара уже государство, другие города – то же самое. Этак у нас без конца будет свалка.

Тут Петька вскочил, покраснел и стал бить себя по раскрытой груди кулаком.

– Так и нам без конца, – закричал он, – урезать себя, скаредничать и все делать самим?

Дед приподнял ладони, а голову, кротко вздохнув, он склонил на плечо.

– Сын мой Петр, – согласился он, – да, это очень обидно. Но что можно сделать? Потерпим еще.

Он приехал один раз в большом беспокойстве.

– Петр, вот что приходит мне в голову, – сразу сказал он. – Ты слышишь одним только ухом. В России тебя отпустили домой. Но как будет в Самаре? Не вздумает ли она тебя снова забрать?

Озабоченные, они совещались весь день и решили, что дед съездит к доктору Марьину и потолкует с ним.

Выждали несколько, чтобы подсохло, и дед, отпросясь из конторы и взяв с собой Шурку и короб с харчами, отправился.

До Земляного они продремали в телеге с высокими стен-

ками.

Сонные, они слышали по временам, как колеса то бойко стучат по хорошей дороге, то с скрипом ворочаются по пескам.

Ночевать они думали у Исламкулова, но он ходил с тюком по селам, и, разочарованные, они с своим коробом двинулись на постоялый, и их уложили там в комнате с картой войны на стене и с наклеенными вокруг карты бумажками от карамели «Крючков».

А в Богатом хозяйка заезжей узнала их и, подавая им чайники, поудивлялась, что Шурка подрос. Он моргнул ей и выстрелил молодцевато слюной через дырку в зубах.

Из Богатого выехали на рассвете и днем были дома. В сенях, как и прежде, стояла кадушка с водой и висела парадная сбруя. Зеленые вожжи уже стали серыми.

В кухне сидел дед Матвей и читал, а девчонка, которую отвозили к просвирне, писала.

Она была жилистая, с длинным носом – в Евграфыча и в Евграфычевых сыновей.

Мать была в это время на станции – сделала студень и с младшим мальчишкой пошла продавать.

Возвратясь, она ахнула. – Шурка, – бросаясь к нему, закричала она и, схватив, подняла его.

Высвободясь, он утерся рукой. Младший брат подошел к нему и, приставив каблук к каблуку, отдал честь.

– Ну, – сказал дед Евграфыч, – что нового?

Мать рассказала про бабу, и он покачал головой. Снова вспомнили Губочкину.

Аверьян, оказалось, уже больше не жил здесь. Осенью он перешел к машинисту Скворцову в зятя.

– Говорят, – подмигнула Авдотья, – что Ольгу Суконкину видели в церкви во время венчанья. Она грызла руки от злости.

Когда пообедали и дед Евграфыч всхрипнул, он сказал: – Ну-ка, Шурка, я вез тебя, ты же меня поведи. – И опять, как два года назад, все смеялись.

– Идем, – кивнул Шурка. Они собрались и отправились к Марьину, но не застали его.

Возвращаясь, они загляделись на девку в бушлате и розовом фартуке, несшую в каждой руке по скамье.

– Интересно, – сказал дед, – куда это.

Девка вошла, отдуваясь, в какой-то амбар или бывшую лавку, широкие двери которого были открыты, и стала стучать, устанавливая там свои две скамьи.

– Заглянем? – оживляясь и надевая пенсне, спросил дед, и они завернули туда.

Там сидели мальчишки и взрослые, ерзали и перешептывались. На стенах были белые вывески. Шурка, показав на них пальцем, спросил, что там пишется.

– Это мы мигом узнаем, – сказал ему дед, почитал и ответил:

– Божественное.

Впереди стоял столик с водой. Вдруг за ним очутился мужчина из немцев, напился, утер рот платком и сказал, что сейчас здесь незримо присутствует сам дорогой наш господь.

Потом спели по книжечкам песню с припевом «открой»:

Как олень молодой
По тропинке лесной
К ручейку спешит,
Иисус святой
В сердце твое стучит:
Открой!

– и мужчина у столика стал разъяснять о «рабе», что не больше он, чем господин, а, напротив того, должен слушаться своего господина со страхом и трепетом.

Снова попели, прошла вперед немка в седых завитушках и встала у столика.

– Счастье, – сказала она, – в громкогласной молитве. Оно недоступно для тех, кого дьяволы держат за губы.

Таких людей участь – плачевна.

Она проникательно всех оглядела и вызвалась, если здесь есть кто-нибудь из таких, помолиться с ним вместе о его исцелении.

– Есть, я, – объявила, встав, девка в бушлате.

– Идите сюда, – пригласила целительница и с небесной улыбкой ждала.

Вдруг ее кто-то облил чернилами. Визг поднялся. Все по-

вскакивали. Одна лампа погасла.

– Ох, сил нет, – сказал деду Шурка и вышел на улицу похихотать.

Он узнал там, что скандал этот сделал Егорка, сын Ваньки Акимочкина.

– Молодчина, – хвалил его Шурка, гордясь, – прямо в харию попал. Он наш родственник.

Утром Евграфыч сходил один к Марьину. Марьин его обнадежил.

– Всё в наших руках, – похвалился он.

Дед удивился приятно. Они сговорились, прощаясь, что Петька приедет сюда.

Мать выходила к поездам с харчами. Шурка помогал ей.

Он смотрел за покупателями, чтобы как-нибудь они не изловчились и чего-нибудь не сперли.

Он пилил дрова, колол их, носил в дом, ходил на живо-дерню за ногами и рубил их на полу в корыте.

Мать варила из них студень для продажи, а мослы наваливала на кухонный стол, и вся семья садилась и обгладывала их.

– Все Шуркина работа, – приговаривала мать. – Он как отец у нас, на нем дом держится, – и всюду его расхваливала.

В среду на Страстной неделе был большой базар, и Мандриков приехал на него с горшками. Теща главного была там и купила у него кувшин для молока. Он попросил ее сказать Авдотье, что есть новость для нее, известие, которое не лишено значительного интереса.

Через час Авдотья прибежала туда и остановилась у его телеги, запыхавшаяся и парадная, с кораллами на шее. Ее синее сатиновое платье уже вылиняло, черный кружевной платок стал рыжим.

– Здравствуйте, – сказала она Мандрикову, и тогда он сообщил ей, что произошло с Евграфычем, когда он выехал отсюда: в Земляном он ночевал у Исламкулова, а к Исламкулову залезли воры и зарезали обоих. Александрыч в это

время жил в той стороне – и вот вчера рассказывал.

В день Пасхи встали поздно и, принарядясь, отправились на кладбище. Христосовались с встречными и разговаривали с ними о Мусульманкуле и Евграфыче. Добравшись, покрошили красное яйцо и ломтик кулича на бабкину могилу, чтобы воробьи слетались туда и клевали. Возвращаясь, потрезвонили на колокольне, а когда пришли домой, явился Аверьян – поздравить.

Дед с ним выпил синенького, и они поговорили про Евграфыча и вспомнили другие смерти – бабкину и Губочкиной, и потолковали об Иване – как он затевал присвоить этот дом, и как на материны похороны прибыл прямо в церковь, а на панихиды, певшиеся в доме, носа не казал.

Авдотья присоединилась к ним и тоже выругала Ваньку.
– Нюрку-то свою, – напомнила она им, – искалечил тогда: до сих пор ведь чахнет.

Вечером они еще раз всей семьей прошлись. Они задерживались то с одним знакомым, то с другим и говорили с ними о Евграфыче.

У станции они увидели толпу и поспешили посмотреть, в чем дело. Окруженные любителями, взрослые и мальчуганы ползали на четвереньках и, светя друг другу спичками, кончали катать яйца.

– Эх, – сказал Матвей, – вот мы с тобой не взяли по яичку. Постояли там немного, пока все не разошлись, и вспомнили еще раз, как когда-то Ванька здесь бахвалился.

Прощаясь, Аверьян насупился. Он дернулся идти и задержался. – Знаете, – сказал он и пожаловался, что Скворцовы, его тесть и теща, заставляют его день и ночь таскать дрова и воду и считают его, кажется, за батрака.

На Радунцу были еще раз на кладбище, молились там и ели. Было очень весело. Кругом везде закусывали, пели панихиды и играли на гармониках. Перед воротами вертелась карусель, сидели бабы с семечками, и фигляры в узеньких штанишках с золотыми блестками ломались под шарманку.

Дед здесь подошел к Василию-соседу, земледельцу, и поговорил с ним. Оказалось, что недавно в лес за сахарным упал небесный камень и от этого сгорело несколько деревьев.

– Не к войне ли это? – спросил дед, подумав, и узнал, что – да, и скоро все заговорили о войсках, которые со всех сторон идут сюда, и стали рыть землянки и закапывать имущество.

Суконкин, раздобыв трех пленных, приказал им вырыть подземелье подо всей усадьбой. Дед Матвей возил туда дубовые столбы и тес.

Однажды прилетел аэроплан откуда-то, поколесил вверху и скрылся, пушки стали ухать где-то, и один раз ночью, когда все уже храпели, в дом к Авдотье постучались чехи и велели деду сесть к ним в грузовик и показать им, как проехать к станции.

Авдотья и все дети встали и, обеспокоенные, начали высказывать и слушать, не идет ли он уже. Вернулся он ужасно важный и, снимая лапти, рассказал, что было очень страшно.

Утром, неся ведра, чистое и меринное, он повел коня к колодезю. Грузовик с мешками и с хвостом из пыли выскочил из леса, побежал вдоль ветки, а за ним – другие два.

Тут теща главного, согнувшись, вылезла через дыру в заборе. У нее в руках был серп и кузовок, а на руках перчатки, чтобы жать крапиву. Выпрямясь, она взглянула на грузовики.

– Должно быть, это чехи в сахарные склады понаведались, – сказала она, и дед щелкнул языком два раза.

– Вот дела какие, – сообщил он, возвратясь с колодца, и тогда Авдотья сшила из дырявой наволоки несколько мешочков и отправила детей на станцию выпрашивать у чехов сахар.

Там уже расхаживали, клянча и прикидываясь сиротами, все Акимочкины, дети Ивана и его второй жены. Егорка, тот, который окатил тогда чернилами старуху, – был губастый малый лет четырнадцати, длинный, с маленькой физиономией и красненькими глазками.

– Пожертвуйте кусочек сахарку, – гнусавил он, протягивая руку, – родненькие дяденьки, бездомному мальчонке.

Шурка стал вертеться около него, почтительно поглядывать и скромно улыбаться, но Егорка не успел заметить его, потому что через несколько минут их всех прогнали.

Скоро стало опять слышно, как стреляют где-то, и однажды утром чехи выпустили нефть, которую накачивают в паровозы, и уехали на поезде. Она стекла в канавы. В полдень

пришли красные и приказали всем явиться с банками и ведрами и подобрать ее.

Здесь Шурка улизнул от матери и, пошныряв между народом, отыскал Егорку и с своей жестянкой присоединился к нему.

– Ах, и лихо ты тогда плеснул ей в харю-то, – сказал он, и Егорка ухмыльнулся снисходительно.

Авдотья же разулась и с засученными рукавами, деловитая, пристроилась носить наполненные ведра.

– Здравствуйте, кума, – подкравшись неожиданно, сказала ей литовка и поджала губы. – Издеваются как – а? Ну прямо нет спасенья. Но недолго это будет: ксендз нам говорил.

Когда все было сделано и люди привели себя в порядок и пошли домой, Авдотья выругала Шурку. Оказалось, она видела, как он заговорил с Егоркой.

– Ты забыл, – спросила она, – как они хотели нас из дома выжить? Нечего там. Словом, чтобы это было в первый и в последний раз.

Торговки, вышедшие к поезду с съестным, увидели однажды, как пришел мальчишка с кистью и наклеил на изопропункт афишу. Грамотные, поручив соседкам постеречь товар, направились к ней.

– Что там? – спросил Шурка, когда мать прочла все и вернулась, и она ответила, что будет диспут насчет Бога и бессмертия души.

– Не знаю, что это за штука, – подивилась она.

Дед же, когда он явился вечером с работы, уж знал все.

– Это такой спор, – сказал он. – Мы будем свое доказывать, они свое, и если возьмет наша, то Бог есть.

Всем было интересно, что в конце концов окажется, и множество народа пришло слушать спор. Служители церквей, которые были обещаны афишей, не смогли прибыть.

– Мы очень сейчас заняты, – сказали они, когда к ним пошли поторопить их.

Начали без них. Сначала был доклад, в котором ничего нельзя было понять, потом открылись прения.

Ораторы, обдергивая куртки и приглаживая волосы, всходили на подмостки, ударяли кулаком по столику, кричали:

– Бога нет!

или

– Бог есть! – спускались, шли на место и старались успокоиться, а их соседи дергали их за рукав и начинали спорить с ними.

Иногда все воодушевлялись, принимались топотать ногами и выкрикивать:

– Есть!

– Нет!

Мальчишки, сунув пальцы в рот, свистели, председатель вскакивал и начинал звонить, и время шло, а дело ни на шаг не подвигалось.

Вдруг Иван Акимочкин взял слово:

– Господа, – сказал он, – граждане, – и показал обеими ру-

ками на Марына: – Вот доктор. Все мы знаем, что он делает большие операции, режет тело и туда заглядывает. Спросим его, видел ли он там, в середине, душу, и он скажет нам, что нет. А между тем мы знаем, что она находится там. Так-то вот и Бог, как говорится: нам его не видно, но он есть.

Тут верующие захлопали в ладоши, закричали:

– Правильно! – и стали ликовать, считая, что теперь все выяснено. Дед Матвей, довольный, посмотрел на всех, а земледелец Василий Иванович и главный, которые сидели позади него, пожали ему руку и поздравили его. Сияя, он толкнул Авдотью и сказал ей:

– Что ни говорите, а Ванька – голова.

Везде хвалили Ваньку и рассказывали, как он ловко осадил безбожников. Матвей со всеми разговаривал об этом, и когда ходил мимо ларьков у станции, уже не вспоминал, как Ванька здесь бахвалился когда-то.

А Авдотья встретилась однажды с Виноградовым, дьячком, и он сказал ей, что Иван Матвееч – новый Златоуст. Польщенная, она ответила на это, что – да, правда, шарики у Ваньки хорошо работают.

Был вечер. Солнце было низко. Колокол звонил. Иван Акимочкин лежал после обеда. Он почувствовал, что словно его кто-то дернул за руку и толкнул в спину, чтобы он пошел на кладбище и навестил могилу своей первой жены Марьи.

Он волновался и, придя туда, нечаянно заметил, что иконка на кресте над прахом Яшки, сына земледельца Василия Ивановича, обновилась.

– Шел я это, – стал рассказывать он всем, – и вдруг смотрю себе: что это, думаю.

Все начали ходить тогда на Яшкину могилу и дивиться и соображать, что это предвещает. Даже ксендз пришел и, поджав губы, покачал пробритой на макушке головой.

– Да, это чудо, – подтвердил он одиннадцати беженкам, которые его сопровождали, и предостерег их, что оно не означает, будто схизматическая вера правильная, а показы-

вает лишь, что Бог, где он находит нужным, там себя и проявляет.

– Он свидетельствует о себе, – сказал ксендз и приподнял палец, – и предупреждает тех, которые ему противятся.

Авдотье, специально забежав для этого, про обновление иконы рассказала земледельцева жена, и, проводив ее, все посмеялись, потому что до сих пор она всегда форсила и при встречах отворачивалась.

Сговорясь с другими станционными торговками, Авдотья после поезда велела Шурке отнести домой корзину, а сама отправилась с ними на кладбище – взглянуть.

Иконка на кресте у Яшки была и в самом деле новенькая. Несколько мужчин и женщин, глядя на нее, стояли и молчали. Ванька оказался здесь же. Он кивнул Авдотье и поднес два пальца к козырьку.

– Я навещаю здесь своих покойниц, – объявил он громко, – маменьку и первую жену.

Авдотья сделала ему навстречу полшага и протянула ему руку.

– Как вы поживаете? – сказала она. – К нам бы заходили как-нибудь. Папаня будут заинтересованы вас видеть.

– Что же, я вполне сочувствую, – ответил ей Иван.

Он проводил ее и зашел в дом. Дед встал, захлопнул свою книгу, посмотрел из-под ладони, точно против света, и стянул с себя очки.

– Вот это радость, – заявил он и, когда уселись, пожалел,

что нечем ознаменовать ее.

– Найдется что-нибудь, – любезно сказал Ванька, поднялся, пригладил ежик, надел шапку, вышел, завернул к Василию Ивановичу, земледельцу, и принес бутылочку.

После Успенья Шурка первый в доме встал, старательно умылся, привязал веревкой к пуговице куртки пузырек с чернилами, взял грифельную доску, кусок хлеба с солью и пошел учиться.

Старшая сестра его, Маришка, проучившаяся в школе уже год, с кровати закричала ему, важничая:

– Ты чего спешишь? Пойдешь со мной вдвоем. – Но он не захотел идти с ней.

Он уселся на четвертую скамейку, отвязал свою чернильницу, откинулся на спинку парты, руки положил на стол, одну поверх другой, и благодушно стал поглядывать, готовый посмеяться, если вдруг случится что-нибудь забавное.

Вошла учительница Щербова, не очень молодая и одетая нарядно по последней довоенной моде, в длинной юбке и в митенках с кружевцом. Она остановилась и, умильно посмотрев, сказала:

– Здравствуйте, ребята, и, пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания, потому что я наелась чеснока и луку.

Она села и, прочтя вслух список, оглядела каждого, потом пошла к доске и принялась показывать на ней, как надо выводить крючки и палочки.

На перемене Шурка стал есть хлеб и разговаривать с уче-

никами.

– Вы верблюдов видели? – спросил он, и они должны были признаться, что не видели. Про крытые двory и про портного Александрыча, который обшивал разбойников, они не слыхивали, в поле не работали, в палатке и на постоялом никогда не спали.

– Мелко плаваете, – посвистев, сказал им Шурка и нахально посмотрел на них. Они напали на него и стали его бить, а он стал отбиваться кулаками и ногами и кричать, что жалко, что нет финки или кистеня, и так они дрались, пока не вошла Щербова и не сказала:

– Это что такое?

Возвращаясь, он увидел на путях у станции вагон, похожий на почтовый, и толпу возле него, которая галдела и вдруг выстроилась в очередь.

Он подбежал к ней и, пристроясь, вошел с ней в вагон, уселся и, когда погасла лампочка, увидел улицу с пятнадцатизэтажными домами. Человек, спасаясь от большой собаки, выбежал из-за угла и вскочил в бочку, а собака покатила ее лапами и выкатила за город и сбросила с обрыва в озеро.

К обрыву вдруг гуськом примчались полные разбойников автомобили и поочередно, друг за другом, все свалились в воду.

Скучными казались Шурке станция и маленькие домики поселка, когда, выйдя, он отправился домой. Он думал о красивом городе, который ему только что показывали, и о том,

что хорошо бы было жить там.

В воскресенье мать нажарила пшеничных пирогов с капустой, чтобы продавать у поезда, и Шурка пошел с ней на станцию. Там подскочил к ним малый лет семнадцати, заика, в деревенской шубе, отобрал пятнадцать пирогов и объявил, что тятенька заплатит: он в том доме.

Шурка, добежав с ним, сел и начал его ждать, а он не появлялся. Шурка заглянул в те двери, за которыми он скрылся, и увидел, что проход сквозной.

Горюя и ругая себя, он и его мать распродали то, что у них осталось, и, повесив головы, отправились домой. Все уже знали, что произошло, и около аптеки им сказали, что заика сейчас в чайной и с каким-то негодяем пьет с их пирогами чай.

Сейчас же они бросились туда и, вызвав его, стали требовать уплаты. Он же, подхватив руками полы своей шубы, начал удирать. Авдотья, Шурка и присоединившиеся к ним прохожие бежали за ним следом и кричали встречным:

– Дяденьки, держите его.

Железнодорожник с желтыми усищами, который шел навстречу, растопырил руки, заскакал, чтобы поймать заика, поперек дороги, укрепился на расставленных ножищах и, облапив, задержал его.

– Ну, Шурка, – сказал он, когда погоня добежала, – бей его, – и наклонил воришку, чтобы Шурка мог его достать.

Тут Шурка стал хлестать его то по одной щеке, то по дру-

гой, пока Авдотья наконец не смилостивилась и не остановила его.

– Дельно, – похвалил Егорка, оказавшийся в толпе, шагнул вперед, ударил вытиравшего платком лицо и отдувавшегося Шурку по плечу и посмеялся одобрительно.

– Мал золотник, да дорог, – сказал он и предложил пройтись с ним.

– Ах, – и деловитый, нахлобучив шапку, Шурка быстро сунул матери платочек, сделал грудь горой, нос вздернул и ответил басом:

– Дуем.

– Надо было шубу у него отнять, у гада, – сказал вдруг Егорка, когда они молча несколько прошли.

– Эх, мы не догадались, черт его возьми, – ударил себя Шурка кулаком по голове и начал сокрушаться и досадовать.

Егорка, подведя его к подъезду станции, остался посидеть у входа, а его послал в середину и велел насобирать окурков.

– Много? – на ходу осведомился Шурка, ринувшийся, чтобы поскорее исполнить это поручение и оправдать доверие, которое Егорка оказал ему.

Покуривая, они стали говорить, что здорово бы было сделаться разбойниками.

Шурка стал расхваливать разбойничье житье и рассказал о нем все, что узнал когда-то от портного Александрыча.

– Им тоже нужно чем-нибудь прокармливать себя, – сказал он. Рассуждая так, они дошли до дома Ваньки и вошли

в калитку палисадника.

Дом был обшитый досками, голубенький, с зеленой крышей и лиловыми воротами. На двери, как у доктора, сияла начищенная медная дощечка, а на косяке висел железный прут с деревянной грушей на конце.

Егорка дернул его, и за дверью звякнуло. Зашлепали калоши, загремели разные крюки и цепи, Ванькина жена открыла и посторонилась, чтобы дать пройти.

Она была большущая, живот держала выпятя, а плечи отведя назад, как будто несла воду в ведрах. У нее в ушах висели серьги кольцами. Ее лицо было большое и невыразительное, белая ночная кофта выпачкана блохами, а ноги без чулок были толстенные, голубоватые и лоснились, как костяные.

– Наше вам, – сказал ей Шурка вежливо и подал руку.

В доме был угар от утюга, грязь, на стенах коричневые пятна от клопов. Возле икон был помещен Петр Первый с усиками и мясистым подбородком, в кудерьках, как баба, отпечатанный на жести, и пучок бессмертников.

– Что ж, Нюрка еще чахнет? – спросил Шурка, подмигнув.

Егорка посмеялся и ответил:

– Чахнет, – и они поохотали.

В начале ноября у Ваньки был прием. Все родственники и главнейшие знакомые приглашены были пожаловать к нему по случаю дня именин его жены.

Все было на большую ногу. Подогнали к этому торжественному дню убой свиньи. За самогоном ездили к Василию Ивановичу на телеге.

Стол накрыт был в «зале». Именинница надела свое свадебное платье. Оно было розовое, матовое, и на нем был выткан шелковый узор в виде глазочков из павлиньего хвоста. Лицо она натерла порошком, который приготовила из стружек от стеариновой свечи.

Сам Ванька был в рубашке с отложным воротником и в кителе с затянутыми черным коленкором пуговицами. На шею он пристроил вместо галстука шнурок с помпонами, усы намазал салом и свернул колечками.

Детей в тот вечер рано накормили, подпоили их, чтобы они покрепче спали, и упрятали их всех на печку.

Нюрке мачеха велела причесаться на прямой пробор и выдала ей белый фартук. В нем она должна была прислуживать.

Чтобы улучшить в доме запах, зажгли свечку и сожгли на ней кусок бумаги.

Собрались: церковный староста со старостихой, земледелец со своей супругой, дед Матвей с Авдотьей, Аверьян с

женой, отцом жены и ее матерью, литовка с мужем.

Пили самогон и несколько наливок из него. Еда была вся изготовлена из мяса только что заколотой свиньи.

Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее.

Ванька лебезил перед гостями. Он пенял дорогим родственникам, что они так долго на него сердились, пожимал им ручки, пил за их здоровьице и выражал надежду, что вперед у него с ними будет мир.

Дед радостно ему поддакивал, похлопывал его по плечу, поглядывал на всех и похохатывал. Он выпивал стаканчик за стаканчиком, закусывал кусками сала и засаленные пальцы вытирал об волоса.

Литовкин муж пил молча, что-то думал, иногда ребром ладони ударял жену по локтю, и, внезапно оживившись на минуту, говорил, показывая головой на стол:

– Шамовка губернаторская.

Аверьян был грустен и смотрел в тарелку. У него горело одно ухо и одна щека. Беременная и одетая в широкий балахон, его жена дремала, а ее родители старались съесть как можно больше и от времени до времени, прикрыв руками рот, тихонько говорили что-нибудь друг другу на ухо и принимались хохотать. Литовка искоса на них поглядывала и, скандализованная, кашляла.

Авдотья была очень хорошо настроена. Она была в кораллах, в вязаной зеленой кофте тещи главного и в гребне со стеклянными брильянтами. Она сидела рядом с Аверьяном, громко говорила и жестикулировала. Иногда она притрагивалась к Аверьяновой руке и, словно испугавшись, вскрикивала.

Гости, всё доев и выпив, стали собираться. Поблагодарили и надели шубы. Ванька схватил лампу и повел их к двери. Там он постоял и осветил им.

Выйдя, земледelec и его жена решили сделать крюк и часть пути пройти по рельсам, чтобы не свалиться в лужу около Диеспериhi. Дед же молодцом взглянул на них, махнул рукой на «крюк» и, обхватив Авдотью, пошатнулся и пошел с ней прямо.

До Диеспериhi они несколько раз падали, а около Диеспериhi, облезая по забору лужу, сорвались в нее и пролежали в ней до света.

Утром их доставили домой больными. Теща главного увидела в окно, как их везут, и прибежала посмотреть, в чем дело, и взять кофту.

Уложив их, она позже навестила их еще раз и дала им липового цвета. Они выпили его, но он им не помог, и ночью они сильно бредили, а дети просыпались, и им страшно становилось.

В полдень сунула в дверь голову и молча посмотрела, а потом вошла литовка. Она сделала печальное лицо и шепо-

том спросила:

– Как они?

На цыпочках она подкралась к деду, от него – к Авдотье и потрогала их.

– Ах, – вздохнула она и, взяв веник, полила из ковшика полы и подмела их.

А когда стемнело, пришла Нюрка с железнодорожным фонарем в руке. Она была в солдатской ватной куртке и в солдатских башмаках.

Поставив фонарь на пол и не разгибаясь, она стала кашлять, а потом сказала, что ее прислали справиться. Под курткой у нее был кусок сала в тряпке, и она оставила его.

– Не говорите только никому, пожалуйста, – предупредила она.

Шурка перестал учиться. Утром он сидел возле больных, давал есть лошади, пилил дрова с соседями и таскал воду. Вечером, когда Маришка была дома, он бежал к Егорке и шатался с ним. Он собирал окурки для Егорки, задирали кого-нибудь, когда Егорка хотел драться: на него набрасывались, а Егорка за него вступался.

К поезду они являлись на платформу и прогуливались там. Они подмигивали девкам и толкались с пассажирами, носившимися к кипятильнику или толпившимися около торговков.

Один раз Егорка подскочил внезапно к старушонке в капоре, которая стояла около вагона и уписывала черную ле-

пешку, и, нагнувшись, плюнул ей в глаза.

Она схватилась за них, выпустила сумку из руки, Егорка наклонился, поднял ее и шмыгнул под буфера, а Шурка очень испугался, побежал домой, залез скорей на печку и, не засыпая, пролежал всю ночь.

Попискивали мыши и скреблись об жесть, которою были забиты щели. Дед хрипел. Авдотья что-то бормотала и выкрикивала, говорила, что ей, может быть, и тридцати еще лет нету.

Наконец Маришка встала, затопила печь и подошла к кровати деда. Дотронувшись до него, она вдруг взвизгнула и выскочила в «зал».

Авдотья, не пошевелиясь, велела кликнуть тещу главного и снова стала бредить. Скоро дом наполнился усердными старухами, которые галдели и хозяйничали. Деда они вытащили из его постели и, стянув с него рубаху, стали его мыть.

Потом явился Ванька, строго посмотрел на них и объявил им, что он будет здесь распоряжаться.

Дедов сундучок он отпер и распотрошил его. Взял книгу и очки и запасные стекла к ним, а остальное, разный хлам, сбросал обратно.

Хоронить повезли деда на тех дрогах, на которых он извозничал. Последние два дня стоял морозик, и идти за гробом было хорошо.

Процессия составила порядочная. Встречные переходили на средину улицы и присоединялись. Некоторые же

останавливали выступавших перед дрогами отца Михайлу и дьячка, сговаривались с ними и платили им, чтобы они поехали.

Толстая Диеспериха, важно семенившая сейчас же вслед за родственниками, три раза выходила из толпы, брала свой подол в руки, обгоняла дроги и заказывала пение.

В числе других за гробом несколько кварталов прошла Ольга, дочь купца Суконкина.

Авдотья все еще лежала. Поминать поэтому позвали к Ваньке. К Ваньке же в сарай отправили и дроги вместе с меринком.

– Потом сочтемся, – сказал Ванька.

Как и следовало, на поминках подавали девять блюд. Четыре из них были изготовлены из мяса той свиньи, которую присутствующие уже однажды пробовали, когда праздновали именины Ванькиной жены.

Детей Авдотьи накормили в кухне вместе с Ванькиными. Шурка подтолкнул Егорку и напомнил ему случай со старухой, а Егорка подмигнул и снисходительно ответил, что бывало и не этакое.

В доме, когда дети вечером вернулись туда, теща главного и с ней еще одна старуха мыли пол. Когда они ушли, Маришка затопила печь, мальчишки вытащили из-под дедовой кровати сундучок, взломали его, взяли из него «рожки» и съели.

Плохо стало жить. Авдотья все лежала. – «Дорогой супруг мой», – вырвав из Маришкиной тетради лист, писала она и

не знала, куда слать письмо.

Она гадала, капая со свечки в воду воск. Из капли должен был бы получиться гроб, если бы муж ее был мертв. Но ни гроба, ни другого чего-либо у нее не получалось.

В доме было пусто. Налить лампу было нечем. Хлеба тоже не было. За лошадь Ванька прислал с Нюркой четверть керосина и двух коз. Муки, чтобы подбалтывать им в поило, было негде взять.

– Хоть в воду, – сказал Шурка, рассказав Егорке все это, и стукнул от досады кулаком одной руки по кулаку другой.

Егорка поджал губы, поморгал, задрал вверх голову, и предложил ему работать.

Молча и посвистывая, он повел его, как и всегда по вечерам, на станцию. Снег падал, от невидимой за тучами луны светло было, шаги поскрипывали, и дышать приятно было.

В «третьем классе», еле освещенном тусклой лампочкой и мутном от махорочного дыма, они сели. Они высмотрели женщину, которая, оставив на скамье корзину, отошла.

Егорка велел Шурке идти следом за ней и покараулить ее, а потом бежать к задворкам дома Марьина.

Когда он прибежал туда, Егорка уже ждал его. Взломав корзину, они вытащили вещи, запихали их под шубы и, снеся к Егорке, закопали в сено.

Утром они взяли все, что было белое, и вышли на базар. Цветному они дали полежать пока. Из выручки Егорка выдал Шурке треть.

Каждый вечер они стали проводить на станции. Они сидели в «третьем классе» и высматривали, что можно украсть. У спящих они шарили в карманах. К поездам они выскакивали и шныряли по вагонам.

Если ничего не попадалось, что бы можно было им стащить, они протягивали руку и просили милостыню.

Гордый, Шурка возвращался около полуночи и, разбудив Маришку, выдавал ей деньги на еду. Авдотье он сказал, что попрошайничает. Она всхлипнула и вытерла глаза.

Маришка и Алешка, младший, тоже захотели зарабатывать и стали выходить на станцию, стоять с протянутой рукой перед проезжими и ныть.

Всё чаще пассажиры стали умирать в пути, и люди в белых фартуках, неся вдвоем носилки, уже каждый раз, когда на станции был поезд, приходили на перрон.

Все расступались перед ними, и они, взяв из вагонов трупы и накрыв брезентом, уносили их в мертвецкую.

Когда они накапливались там, их вывозили в ямы, выкопанные за кладбищем, глубокие и длинные, как рвы, и присыпали снегом, а землей забрасывали лишь тогда, когда вся яма набивалась ими.

Около мертвецкой с раннего утра похаживали жулики. Одни были небритые, в замызганных шинелях, подпоясан-

ных веревками, сутулые и сонные, другие же – нарядные, сейчас из парикмахерской, в штанах колоколами, в толстых пестрых шарфах и в цветистых кепках, сделанных из одеял.

За трупами, подскакивая на булыжниках, торчащих из укатанной дороги, с грохотом являлась наконец телега, и тогда гуляющие около мертвецкой устремлялись к ямам на песках за кладбищем.

Они присутствовали при разгрузке дрог и, дав им удалиться, обдирали мертвых.

Шурка и Егорка тоже бегали туда и, прячась за сосновыми кустами, издали подсматривали, пока все не разошлось и собаки, отступившие немного, когда собрался народ, не возвращались к ямам.

– Черт возьми, – завидовали Шурка и Егорка, выбираясь по снегу из-за своих кустов и глядя вслед вора, маршировавшим впереди с добычей.

– Чем мы виноваты, что еще так молоды? – роптали они и, чтобы отвлечь себя от этих горьких мыслей, совещались, как убить кого-нибудь. Тогда бы они сняли с него всё.

Однажды они были в клубе и смотрели представление «Для нас весна прошла». Оно растрогало их, и не раз они украдкой отворачивались друг от друга и снимали пальцем набегавшие им на глаза слезинки.

А когда мужчина в черной бороде и в красном вязаном платке на шее объявил, что будет гастролировать сегодня без суфлера, наклонился, чиркнул спичкой, с двух сторон под-

жег костер, разложенный на жестяном листе, и, уклоняясь от поднявшегося дыма, стал произносить стихотворение «Разбойники», они взглянули друг на друга и пожали друг другу руки.

Наконец, сатирики Дум-Дум и Эва-Эва страшно насмешили их, и они долго хлопали, встав с места, и кричали «бис».

Хваля программу и жалея, что уже все кончено, они пошли к дверям.

– Эх, здорово участвовали, курицыны дети, – восхищался Шурка, оборачивался и, подняв лицо, заглядывал в глаза толкавшимся вокруг него красноармейцам, железнодорожникам и девкам.

Вдруг Егорка тронул его за руку и подмигнул ему на пьяного, который был один.

Они пошли за ним в какой-то переулок между огородами. Снег под ногами взвизгивал. Луна светила. Тени от плетней и от торчавшей кое-где ботвы лежали на снегу.

Пройдя немного, пьяный вдруг остановился, растопырил руки, рухнул и остался лежать молча и не двигаясь.

Тогда они приблизились к нему, послушали и, оглянувшись, встали на колени и разули его.

Они сняли с него башмаки и новенькие серые обмотки. Шапка у него была дрянная, а шинель была надета в рукава и подпоясана.

В карманах ее ничего не оказалось, и Егорка напихал в

них снегу. Шурка посмеялся.

– Убивать не будем? – глядя на Егорку снизу вверх, спросил он.

– Нет, – сказал Егорка, – не из-за чего, – и Шурка согласился с ним.

У дома они прежде, чем припрятать башмаки в сарае, подошли к окошку и при свете принялись рассматривать их. К ним подкрался Ванька, страшно наорал на них и дал им по пощечине, а башмаки забрал себе.

К Авдотье один раз зашел дед Мандриков. Она еще лежала. Он присел возле нее.

– Вот видите, в каком я состоянии, – сказала она и поплакала немного.

Дед уже в утешение напомнил ей, что кого бог полюбит, того он, обыкновенно, принимается испытывать.

Тогда она ответила ему, что мало удовольствия от такой любви, и он тихонько посмеялся в бороду.

– А данную Диесперику, – понегодовал он, – за ее халатность следовало бы поставить к стенке.

– Ах, – сказала ему тут и с благодарностью взглянула на него Авдотья, – поднести вам нечего, – а он приятно улыбнулся и ответил, что и так доволен.

После этого он рассказал ей новости. Он рассказал ей, что разграблена канатчиковская усадьба, где она жила когда-то, когда муж ее служил там писарем.

– Неужели? – оживилась она и приподнялась. Она рас-

спрашивала обо всех подробностях.

– Что я себе взяла бы там, – сказала она, – это шкаф с зеркальными дверями и рояль.

Пока они беседовали, Шурка соображал, что можно было бы снять с Мандрикова, если бы его убить.

Он делал это теперь с каждым, кто ему встречался. Иногда он шел за кем-нибудь, одетым в новенькую кожаную куртку или в неизношенные сапоги, пока тот не входил в какую-нибудь дверь и окончательно за ней не оставался.

– Не судьба, должно быть, – думал он тогда.

Однажды, когда он стоял у поезда и клянчил милостыньку, человек в ушастой шапке с сереньким барашком и в шинели подошел к нему, дал колчаковскую десятку и спросил его, не знает ли он места, где бы можно было временно пристроить заболевшую в дороге женщину с вещами.

– Да, – ответил Шурка, просияв. – Я знаю. Есть такое дело. Много ли вещичек? – и не стал отказываться от негодных денег.

Мило разговаривая, он повел солдата.

– Вот сюда, – сказал он, заходя в свой двор, и в кухне, засветив лучину, показал солдату стены и кровать с двумя кувшинами и львом, изображенными на спинке.

Он уговорил Авдотью впустить эту женщину, и к вечеру она была водворена.

Вещичек с нею оказалось две: большой сундук и ящичек. Почти всё время у нее был жар, она лежала тихо, и больших

хлопот с ней не было.

Солдат являлся иногда, смотрел, жива ли она, отпирал сундук и, сунув что-нибудь себе за пазуху, скрывался.

Про него рассказывали, что он шляется по деревням и кутит там с бабенками. Он мог так растащить всё дочиста, и чтобы вещи были целы, нужно было поскорей убить его. Все дни и ночи Шурка думал, каким образом устроить это, и не мог придумать.

Топкой печек, пока мать болела, ведала Маришка. Это дело очень увлекало ее, и она без устали подкладывала и нажаривала ее, точно в бане. К тому времени, когда Авдотья наконец поправилась и встала, дров в сарае уже не было.

Литовка, завернувшая взглянуть, что делается в доме, покачала головой, подумала и обещала как-нибудь уладить это. Ее муж от времени до времени, когда он должен был отправиться на паровозе ночью, стал предупреждать, что между третьей и четвертой вёрстами он сбросит пять-шесть плах.

Взяв санки и Алешку, Шурка до рассвета выходил туда. Пустые санки грохотали в тишине, и приходилось взваливать их на спину или нести вдвоем в руках.

Однажды, подобрав три плахи, Шурка приказал Алешке караулить их, а сам пошел по шпалам посмотреть, не сбросил ли литовкин муж еще чего-нибудь.

Луна, которая светила до сих пор сквозь тучу, выплыла из-за нее, и сразу сделалось виднее. Прутья кустиков по сторонам дорожки, которая пересекала рельсы, стали красны-

ми.

За ними на снегу лежало что-то серое, похожее на человека, и, оставив санки, Шурка побежал туда.

Приблизясь, он стал красться, пригибаться и идти не поднимая ног, чтобы под ними как-нибудь не скрипнуло. С тропинки, чтобы быть еще бесшумней, он сошел, и в валенки его набился снег.

Лежавший человек не двигался. Он был одет в шинель, и ноги у него были подкорчены, точно он спал в вагоне на короткой лавке. Шапки на нем не было. Она валялась на дороге. Голову он прикрывал руками.

Это был солдат, который поместил больную у них в доме и проматывал ее пожитки.

– Дяденька, – ударил его Шурка носком валенка по каблуку с подковой, вскрикнул и помчался прочь, схватившись за голову, как Маришка, когда дед, которого она хотела разбудить, вдруг оказался мертвым.

Снова очутясь на рельсах, он остановился, чтобы его сердце стало биться медленней.

– Вещички, – просяяв, сказал он, – теперь наши.

Вечером солдата привезли во двор к ним, и Авдотья вышла на крыльцо.

– Вот, можете похоронить, – сказал ей возчик. – Протокол уже составлен. Ваш жилец замерз. Был малость выпивши.

– Он здесь не проживал, – ответила Авдотья и не приняла его.

Умерла больная незаметно, ночью, так что беспокойства никакого не было. Авдотья, чтобы отвезти ее на кладбище, хотела попросить у Ваньки мерина и сани. Шурка же сказал ей, что не стоит связываться с Ванькой: сунет нос в вещички, и тогда с ним будет не разделаться.

– И правда, – согласилась мать.

– А гроб кого попросим сделать? – встрепенулась она. – Может, Аверьян сколотит?

– Да, – ответил Шурка и сам сбегал к Аверьяну.

– Ладно, – сказал он и вечером явился с инструментами.

Он сделал гроб из досок, оторванных от сеновала, и из планок от щитов, которые были расставлены вдоль «ветки», чтобы защищать ее от снега. Шурка натаскал их, когда не было луны на небе.

Подметя, Авдотья бросила в печь стружки. Аверьян помог ей уложить жилицу в сделанный им гроб и вытер руки о штаны.

– Ну, очень вам обязана, – сказала ему, вежливо раскланиваясь с ним, Авдотья, когда он надел пальто и шапку.

– Не за что, – ответил он. – Я столько лет жил в вашем доме, и вы были мне как мать.

– Ах, что вы, – возразила она.

Утром, приведя с базара мужика с дровнями и поставив

на них гроб, она пошла за ним с детьми, торжественная, и похоронила свою мертвую жилицу без попов.

– Не знаю, – говорила она встречным, – по какой религии она была прописана.

С холстом и с пестренькими ситчиками, оказавшимися в сундуке жилицы и в ее зеленом ящичке, Авдотья принялась опять за дело.

Мужики ей навозили дров. Муки она купила у Суконкина. Он торговал теперь без вывески и отпускал товар у себя в кухне. Иногда дверь в комнату была полуоткрыта, и Авдотья видела в щель Ольгу, вытирающую тряпкой стулья или шьющую, надев очки, или читающую книгу.

Ольге было восемнадцать лет, она была бесцветная, бело-волосая и тощая, и, глядя на нее, Авдотья усмехалась.

Она снова пекла хлеб и пироги и продавала их на станции, а Шурка помогал ей. Поезда ходили не по расписанию, и они сидели с утра до ночи и ждали. Вдруг являлся воинский, товар весь раскупали, и тогда Авдотья отправляла Шурку при- тащить еще.

С Егоркой он теперь встречался редко, и ему не так хотелось теперь сделаться разбойником, как стать хорошим спекулянтом или перевозчиком и продавцом беспошлинного заграничного товара: все хвалили это дело и считали, что оно уж очень прибыльное.

Его шуба, сшитая когда-то Александрычем, была ему уже мала, и из брезента, оказавшегося в сундуке жилицы, ему

сделали пальто с запасом на подоле и на рукавах, чтобы под осень, если будет нужно, можно было удлинить его.

Авдотьины приятельницы уверяли Шурку, что пальто это ему очень к лицу, и говорили ему всякие любезности, а он молодежато взглядывал на них.

Под Благовещенье был день его рождения, ему кончалось девять лет, и в доме была выпивка. Явившиеся гости поздравляли его, пили за его здорбвьице и тормозили его. Он им говорил:

– Пошли вы!

И, освободясь от них, подмигивал им.

Скоро все разговорились, стали похваляться и рассказывать, как здорово им иногда везло. Тут Шурка вызвал мать из «зала» и предупредил ее, чтобы она помалкивала насчет случая с вещичками.

Две гости, одна низенькая, а другая дылда с крошечной физиономией и постным видом, вдруг переглянулись. Они жили на другом конце поселка, пришли вместе и сидели рядом. Они вспомнили, как летом, года этак два назад, казаки изрубили на Мамонихином поле семьдесят мадьяр из пленников. Мадьяры эти здесь квартировали, а работали на Кашкинских. Все скопом они шли домой с работы – и такая вдруг история случилась.

Низенькая с скромными ужимками рассказывала, а верзила на всех взглядывала и кивала.

– Всякий, кто успел узнать об этом, поспешил туда, и

очень поживились тогда те, кто посильней. Мы сами, хоть уже и старенькие, а вернулись с тремя парами сапог и с разными вещами из карманов – кошелечками и часиками.

– Счастье ваше, что вы тамошние, – стали говорить им слушательницы. – А наш конец глухой, и всё у нас проходит мимо, по усам течет, а в рот не попадает.

Тут заблаговестили, и все перекрестились, а Авдотья, приподняв бутылку, показала ее гостьям.

– Ладно, дорогие мои дамочки, – сказала она, – что там? Всех кусков не схватишь. Бросим горевать, хлебом еще разочек и пойдем ко всенощной.

Ее дела в то время удавались ей. Она была довольна и всегда сияла. Она сшила себе новенькое платье с голубыми птичками и сделала хорошенькую кофту из шинели. Всех своих детей она одела и обула.

– Прав ты был, – растроганная, говорила она Шурке, – что привел тогда к нам эту женщину. Теперь нас Бог вознаграждает за нее, за то, что мы ее призрели у себя.

Всё чаще между тем стало случаться, что, явясь к Су-конкину, она не заставала у него товара. Приходилось отправляться к железнодорожникам разноухивать, кто ездил за съестным, бросаться к нему, становиться в хвост и возвращаться зачастую с тем, с чем и пришла, – другие успевали узнать раньше и примчаться первыми.

Авдотья вспоминала теперь, как когда-то Аверьяну принесли письмо от Ольги. Если б он не пофорсил тогда, то че-

рез Ольгу можно было бы всегда осведомляться, нет ли у Су-конкина чего-нибудь в продаже.

Скоро ничего уже нельзя было найти такого, чем бы можно было торговать. Жизнь у Авдотьи в домике опять пошла неважная, харчей стало в обрез, и Шурка пораздумал и решил, что нужно снова идти в жулики.

Уже было тепло, но, чтобы быть солидней, он надел свое брезентовое новое пальто. Он в нем пошел к Егорке, чтобы переговорить с ним, но его не оказалось дома. У него был тиф, и он лежал в больнице. Через полторы недели он там умер.

Один раз Авдотья, выйдя на канаву к козам, встретила с Василием Ивановичем, земледельцем, и, разговорясь с ним, стала плакаться, а он ей предложил взять Шурку поливать огурчики на хуторе и ездить с лошадьми в ночное.

– Он при нас харчиться будет, – увлекательно сказал он, – и у вас одним ртом меньше станет.

Тут же он зашел за Шуркой, и, припрыгивая, чтобы не отстать от него, Шурка по дороге рассказал ему, какие из сельскохозяйственных работ он делал у Евграфыча.

Калитку им открыла земледельцева жена и сразу же послала Шурку натаскать соломы из соседских крыш. Три курицы квохтали, и она хотела посадить их. Люди же советовали ей, чтобы подстилка была краденая.

Шурка сказал «есть такое», сделал ей под козырек и через несколько минут примчался с ворохом соломы. Чалый был

уже впряжён. Василий вынес Шурке квасу и пирог со свеклой и, когда он выпил, отворил ворота и повез его на хутор.

Там он его отдал под начало Гришке, своему племяннику, и Гришка показал ему, что делать.

Правая нога у Гришки была порченная, он хромал, и Шурка знал, что это доктор Марьин, когда началась война, устроил ему это.

Хутор доходил до речки Генераловки, и воду для поливки гряд накачивала лошадь. Она бегала по кругу и вертела колеса. Ковши черпали воду, лили в большой желоб, и оттуда она шла по маленьким. В них были дырки и затычки. Можно было вынимать их и, подставя лейку, наполнять ее и не ходить далёко. Шурке это интересное устройство так понравилось, что он захохотал, когда увидел его.

Гришка был большой любитель музыки и вечером после работы, сидя на крыльце барака, жалостно играл впотьмах на балалайке, а потом рассказывал, как здорово один американец отвечал своей невесте на её упреки, или задавал загадки, а когда их кто-нибудь отгадывал, то Гришка опечаливался и на время замолкал, брал снова балалайку и побренькивал, насупясь.

Шурка скоро подружился с ним и стал с ним обращаться покровительственно, он же, когда сам Василий не присматривал за ними, давал Шурке пожевать чего-нибудь сверх нормы и не очень донимал его работой.

Перед праздниками Шурка ездил с ним домой. Телега по-

громыхивала. Ноги, свешенные вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими березовыми вениками.

Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их.

Гришка то молчал, то оживлялся вдруг и спрашивал, что больше весит – пуд железа или пуд муки, или какая лошадь, придя с луга, больше принесет травинок на спине – с хвостом или бесхвостая, и Шурка отвечал ему, что больше весит пуд железа, и что лошадь больше принесет травы бесхвостая: когда ее кусают мухи, ей приходится сгонять их мордой, и из той травы, которую она жует при этом, несколько травинок остается на ее спине.

Обратно они ехали с зарезанной на ужин курицей учительницы Щербовой, которая жила бок о бок с земледельцем, и когда они пускались в путь, им было слышно иногда, как Щербова разыскивает ее, бегают по переулку и выкрикивает:

– Пыри-пыри!

И тогда они смеялись и подмигивали в ее сторону и делали увеселительные жесты.

Уже лето почти всё прошло. Уже копали понемногу и возили на базар картошку. Шурку иногда пускали с возом одного, без Гришки, и тогда он останавливался перед своим домиком, Авдотья выходила с ведрами, и он ей насыпал в них.

Один раз, когда под вечер он снимал мешки, развешенные для просушки перед окнами барака, подкатил Василий и, с кнутом в руке, слезая с дрожек, крикнул ему:

– Твой отец приехал.

Шурка бросил все и побежал.

– На огурчики я, – говорил он дорогой, – поставлю теперь крест с прибором.

Темнело. Дорога пошла через лес. Там был мрак, точно ночью, и, может быть, были разбойники. Шурка не думал о них. Он бежал, останавливался на минутку, чтобы отдышаться, и снова бежал.

Наконец впереди посветлело немного, лес кончился, и перед Шуркой открылось то поле, за которым стоял его дом.

Огонька в доме не было.

Шурке, когда он постучался, открыла Авдотья.

– Приехал? – спросил он и бросился в дом. Человек на кровати со львом и кувшинчиками совал ноги в штаны.

Он вскочил, подтянул штаны кверху, Авдотья взяла Шурку за руку и подвела к нему.

– Вот он, – сказала она, – старший сын. Поздоровайся с ним. Пока ты околачивался невесть где, он был в доме хозяином, и без него я пропала бы.

– Ну, здравствуй, что ли, – сказал тогда Шурке отец и шагнул к нему.

Шурка ответил:

– Ну, здравствуй, – пожал ему руку и сел на скамейку.

Отец был похож на Евграфыча и на солдат – Петьку с

Ванькой, но был ниже ростом и шире; и нос у него был короче, а под носом у него были красно-коричневые тараканьи усы. Он одет был в солдатское.

– Что же, – сказал он, – по-моему, ночь, – и они улеглись.

Утром Шурка узнал, что отец привез сала и три пуда муки. Затопили печь. Мать стала жарить лепешки. Отец подтащил к ней колоду и сел возле печки. Авдотья его не гнала, хотя он ей мешал. Он сидел, зажав руки коленями, двигал своими усищами и не сводил с нее глаз.

Две недели была суматоха. Приехала бабка Гребенщикова с сыновьями. Она привезла муки, сала и выпивки. Поговорили о том, почему отец Шурки так долго не ехал, о деде Евграфыче, деде Матвее и бабке.

– Диеспериху, – сказал Шурка, – за то, что разводит на улицах лужи, по-правильному, нужно было бы к стенке, – и все согласились с ним.

Начали пить и закусывать. Скоро мужчины, сняв ремни, надели их через плечо, сели вольно и стали покуривать. Петр пустил дым кольцом, посмотрел на него и сказал:

– Один раз мы стояли в резерфе, а он тут как тут.

Все придвинулись ближе. До позднего вечера братья рассказывали интересные случаи, происходившие с ними во время войны.

Петька с Ванькой теперь не пахали, скот продали и поступили на службу. Они взяли отпуск по случаю того, что вернулся их брат, пропадавший шесть лет.

Скоро начали делать визиты родным. Побывали у Ваньки Акимочкина, у литовки. Потом у себя принимали их. Были на кладбище. Там поклонились могилам, взглянули на обновившийся в прошлом году образочек и поудивлялись.

Потом все три брата отправились к тетке-просвирне, вернулись, и гости уехали. Скоро должна была быть однодневная перепись, и им хотелось в день переписи быть на месте.

– Как здорово вышло, – сказал отец Шурки, – что я подошел как раз к переписи. Теперь буду записан с семьей.

– И действительно, – стали дивиться все. Шурка порадовался, что не будет записан на хуторе, при огурцах, а Акимочкин мрачно сказал:

– После переписи вы поймете, зачем она делается. Переписывала эту улицу Щербова.

– Вот к вам и я, – объявила она, входя в кухню, и предупредила, что ела чеснок. Она села с листками за столик. У каждого она между прочим спрашивала о профессии, национальности и о родном языке.

– Под родным языком, – разъясняла при этом она, – понимается тот, на котором опрашиваемый обычно говорит с своей матерью.

– Мы, – сказал Шуркин отец, – извините, но все одной нации и говорим на одном языке.

– Не учите меня, – попросила она и прищурилась.

Шурка смотрел на нее и побаивался, что она его спросит, не он ли крал кур у нее этим летом, но Щербова, глядя в

листки, записала еще кое-что о печах и надворных постройках, сложила бумажки, простилась и двинулась к главному.

Скоро опять Шурка начал учиться. Отец поступил в сельсовет на поселке при сахарном. Кроме того, он писал заявления для тех людей, у которых во время гражданской войны было что-нибудь забрано и им хотелось теперь получить возмещение, и за труды брал натурой. Он был теперь в доме хозяин, Авдотья обо всем с ним советовалась и возилась с ним так, что смешно было видеть, а Шурке теперь от нее был такой же почет, как Маришке с Алешкой, которым она столько лет говорила, что Шурка для них – как отец.

– Ничего себе, – думал он, – здорово.

Ученики его класса дрались с другим классом и всюду носили с собою резинки, к которым привязаны были железные гайки. Они дрались в школе, и вечером, встретясь на улице, снова дрались.

Шурка был постоянно избит и ходил в синяках и подтеках. Запаса из новенького пальтеца не пришлось выпускать, потому что за осень пальто изодрали в клоки.

Он не мог один выйти из дома и в школу ходил с двумя братьями Проничевыми, которые жили поблизости и заходили за ним. Они были приезжие из Генераловки, а Генераловка славилась драками. Там выходили «конец» на «конец» и дрались кулаками, а потом кистенями и ножиками. Братья Проничевы наострились там, и их боялись, но скоро они заболели «испанкой» и умерли.

В первый же день, когда Шурка пошел без них в школу, орава мальчишек с резинками подстерегла его за домом Щербовой. Он не отбился бы, если бы не Аверьян.

Аверьян шел на станцию. Он разогнал их и сдал Шурку Кольке, пятнадцатилетнему малому, родственнику жены Ваньки Акимочкина, Аверьяновой мачехи.

Колька был такой же большой, как она, черномазый, плечистый, лицо его было такое же невыразительное. Он им встретился около станции. Он шел согнувшись и нес на спине пуд муки, а в руке бельевую корзину. В ней были мешочки, бутыль, вобла, мясо, махорка: Акимочкины посылали его в железнодорожную лавку за выдачей, так как у Нюрки, которая обыкновенно была на посылках, был тиф.

– Подойди-ка, – сказал Аверьян.

Тогда Колька поставил на землю корзину, спустил с плеча пуд и спросил:

– Ну чего еще?

– Вот, – показал Аверьян, – доведи его до дому и заступись за него, если вдруг нападут злоумышленники.

– Я бы сам, – сказал Шурка, – разделался с ними, да их очень много.

Он взял Колькин пуд и, взвалив на себя, пошел с Колькой.

– Мука – это что, – сказал он. – Хуже было бы, если бы это была не мука, а железо. А как ты считаешь, бесхвостая лошадь принесет с поля больше травинок у себя на спине или лошадь с хвостом?

Занеся к Ваньке выдачу и получив по шепотке махорки, они зашли к Кольке во двор.

– Показать тебе фокус? – отчистив пиджак от муки, спросил Колька, и Шурка ударил себя кулаком по ноге и сказал:

– Покажи.

Тогда Колька вошел к себе в дом, вынес корку, встал с ней у калитки, зазвал кобеля, пробежавшего мимо, и дал корку Шурке.

– Верти у него перед носом, – велел он, – а есть не давай. Занимай его, чтобы он не смотрел, что я делаю.

– Есть, – сказал Шурка и стал занимать кобеля. Тогда Колька продвинул колоду, подставил ее под хвост кобелю, взял топор, замахнулся и тяпнул. Кобель обернулся и взвизгнул два раза.

– Ой, смех, – крикнул Шурка и, изнемогая от хохота, лег. Колька поднял отрубленный хвост и швырнул за забор. Он довел Шурку до дому. Шурка старался понравиться Кольке, солидно держал себя и рассказал, как работал с Егоркой.

– Ты мал, да востёр, – сказал Колька. – Зайди как-нибудь.

Они стали вдвоем поворовывать. Колька не решался сбывать вещи здесь, и они продавали их или при сахарном, или на Серных водах.

Они съездили раз даже в город, но он не похож был на тот большой город, который когда-то понравился Шурке в вагоне-кино. Ни высоких домов, ни разбойников в автомобилях там не было.

– Вот бы в Самару попасть, – сказал Шурка. – Там, верно, не то, что здесь. Там даже было свое государство.

– И там побываем когда-нибудь, – пообещал ему Колька.

Когда Шурка прибыл из этой поездки домой, там все спали. Отец отворил ему дверь.

– Где ты шлялся? – спросил он. – Потом, почему ты не ходишь учиться? С Маришкой прислали записку.

– По-моему, ночь, – сказал Шурка, – и нечего нам здесь шуметь.

– Хорошо, посчитаемся завтра, – ответил отец.

– Хорошо, – сказал Шурка.

Он встал раньше всех, взял полхлеба и вышел. Была еще ночь. Тарахтела «кукушка». Ее огоньки подвигались впотьмах в направлении к сахарному. Кобели прикурнули под утро в своих конурах и не лаяли. Улицы были пустынные.

Когда рассвело и к колодцам пошли бабы с ведрами, Шурка вошел во двор к Кольке и вызвал его.

Колька вышел, зевая.

– Чего? – спросил он.

– Уезжаю, – сказал ему Шурка. – В Самару.

– Зачем?

– Как зачем? – спросил Шурка. – Известно, зачем: жить, разбойничать.

– Ладно, катись, – сказал Колька. – Разбойничай. Нас не забудь.

– Ну, прощай, – протянул Шурка руку. – Выходит, я еду

Один.

– А то с кем же?

– Конечно, – сказал тогда Шурка.

На станции он залез в незакрытый товарный вагон, на котором написано было «Самара», достал из кармана коробку со спичками и присмотрел себе угол почище. Он сел там и стал дожидаться, когда пойдет поезд.

Дикие

Еще недавно люди были очень дикие. Я расскажу немного про своих родных. Когда эта история, которую я здесь описываю, началась, мне было лет четырнадцать. Всё это было уже после революции, но тогда, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение.

Отец мой служил сторожем на станции. Он подметал ее и выполнял другие подобные работы. Кроме того, он пахал – у нас в поселке все тогда пахали, чем бы кто ни занимался кроме этого.

Он был мужчина дюжий, с черной бородой, пузатый – вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был морщинистый, взгляд грозный, голос рывкающий.

Мать была, наоборот, коротенькая, кругленькая, с тонким голосом. Лицо у нее было налитое, желтоватое, точно моче-ная антоновка. Недавно мне показывали одну бывшую монахиню – мамаша на нее была похожа.

Нас при отце с матерью тогда было пятеро. Шестая наша сестра, Фроська, была замужем за Трошкой. Он был середняк, лет сорока, силач, ходил всегда нечесанный. Его изба была от нас через дорогу.

Сама Фроська была толстая, разиня. Юбка у нее всегда была подоткнута, а рукава засучены. Она любила песни. Ко-

гда ей рассказывали что-нибудь смешное, она долго молча слушала и вдруг валилась со скамьи и захохатывала басом.

С ними жила Сашка, Фроськина девчонка, девка лет под двадцать. Родилась она до Трошки, неизвестно от кого, и Трошка получил ее в приданое. Он с нею обращался хорошо и часто покупал ей пряники.

Она была не в нашу масть. Все наши были черные, а Сашка была белая. Она училась в сельской школе и окончила ее. Ей дали там в награду книгу про купца Калашникова, и она давала мне читать ее.

Мы жили на углу. Через одну дорогу против нас был Трошкин двор, через другую – Ваньки Чернякова, ламповщика.

С Ванькой жила мать, старушка из раскольниц. У нее были борода и усы. Ходила она горбясь. Родом она была нездешняя, казачка из станицы Ольгинской, и называла всех наших людей иногородними.

Бок о бок с Ванькиным двором стоял двор Лизунихи, Марьи Дмитриевны.

Марья была баба лет под пятьдесят, вдова, широкоплечая. Она чуть-чуть прихрамывала на ходу. Когда она беседовала с кем-нибудь, она смотрела в глаза прямо и при этом улыбалась и облизывала губы языком. Она была шинкарка.

Раз, когда папаша мой пришел со станции и сел пить чай, является мать Ваньки Чернякова, Разумеевна, и с нею – Лизуниха. Закрывают за собой двери, крестятся на образа и

кланяются.

Разумеевна выкрикивает по-казачьему:

– Здоровы ночевали?

Поправляет, чтобы закрыть бороду, концы платка, оглядывается, чтобы увидеть табуретку, и садится при дверях.

А Лизуниха улыбается, облизывается, прихрамывая, направляется к столу и там усаживается под средней балкой потолка и говорит отцу:

– Никит Андреич, здравствуй. Чай да сахар. А мы к вам.

Это они явились нашу Варьку сватать.

Варька была дылда, губы поджимала, глаза щурила, подкрашивала щеки красными бумажками и за столом хулила пищу.

Ей не очень-то хотелось выходить за Ваньку, потому что он был низок ростом и черноволос, а ей по вкусу были люди рослые и посветлей. Но раз подвергывался случай, не хотелось упускать его. Поэтому она сказала:

– Можно будет.

Дали мы за ней корову, валенки и обещали справить кое-что из мелочей, а Ванька должен был соорудить ей шубу.

Вскоре отец с матерью принарядились и отправились за мелочами в город. Наш Андрюшка ехал в этом поезде проводником и до Самары довез их бесплатно.

Всю дорогу они пили чай в служебном отделении и разговаривали с железнодорожниками. Время провели очень приятно и в Самаре вылезли из поезда очень довольные.

Мамаша в городе бывала редко, и ей было всё в диковинку. Она зазёвывалась на гробы, которые стояли в окнах некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали, и она всё время останавливалась, а отец всё шел вперед, вдруг замечал, что ее нет с ним, возвращался и ругал ее. Она оправдывалась, и они стояли, перебранивались и мешали людям проходить.

В обратном поезде Андрюшки уже не было, и нужно было брать билеты. Отец взял один билетик, посадил мамашу у окошечка, а сам ушел с покупками в другой вагон.

Отъехали немного. Двери отворяются, и появляется контроль. Рассматривает номера билетов, пробивает щипчиками. Добирается до той скамейки, где сидит мамаша.

– Ваш билетик, – говорит. Мамаша отвечает:

– У Никиты он.

– А где же ваш Никита? – спрашивают.

– А не знаю, – говорит мамаша. – Он пошел куда-то.

– Так отправьтесь с нами, – приглашает ее вежливо контроль, – и поищите его.

– Ладно, – говорит она, встает и начинает с ними продвигаться от скамьи к скамье, всё время с остановками.

– Никита, – зубоскалят кругом люди, – где ты? Жив ли?

Наконец она находит его.

– Вот он, – говорит она. – Ну, слава тебе, Господи. Я думала, уж ты совсем пропал. Никита, дай билет.

– Никита-то я – это да, Никита, – отвечает он. – А ты-то кто?

И он отказывается от матери и заявляет, будто видит ее первый раз.

– Как? – удивляется она. – Никита, да ведь я же тридцать восемь лет живу с тобой.

А он опять не хочет признавать ее.

– Не знаю, – говорит, – какая это сумасшедшая старуха привязалась ко мне.

Тут она упала на колени, стала плакать и упрашивать его, чтобы он не отказывался от нее, но он не смилостивился над ней и дал забрать ее и запереть в служебное.

На станции ее ссадили и свели в контору. Там сидел заведующий Дашкин и еще какие-то. Мамаша сразу же, как только ее ввели в двери, встала на колени. Она вся была растрепана. Платок ее сполз с головы, а кофта выбилась из юбки и чулки спустились. Она стала плакать и просить, чтобы ее освободили.

Все стали смеяться над ней. Дашкин ей велел вставать скорей и догонять Никиту.

Она опрометью бросилась и скоро догнала отца. Он шел, засунув в карман руку, и она его обеими руками ухватила за нее.

– Никитушка, – сказала она, – что же это? Чем я так не угодила тебе, что уж ты не хочешь больше признавать меня?

Он дал ей подзатыльник и растолковал ей, что вреда ей

никакого не было, а денежки, которые бы были выброшены на билет, остались целы, и, поняв это, она порадовалась.

Свадьбу я не стану здесь описывать. Все это можно видеть в звуковом кино. Сплошное безобразие и дикость. Я дивлюсь теперь, как я мог принимать участие во всем этом.

Покамест Ванька жил в одной избе со старухой, но решил поставить для себя отдельную избу.

Смотритель зданий Шукин отпустил ему казенных бревен. Рыжий плотник Осип начал делать сруб, и к осени изба была готова. Молодые перешли в нее, а Разумеевна осталась в старой тут же, во дворе.

К посту у Варьки родился мальчишка, и его называли Колькой, но соседи называли его Оськой, потому что он был рыжий – вроде Осипа.

К Трофиму пришли свахи от Максима-татарина. Просили выдать Сашку. А Максим этот был нэпман – всюду скупал кожи и возил куда-то. Он был очень видный и ходил всегда в костюмчике и при часах. Он жил при Кашкинских заводах. К нам на станцию он ездил в шарабане. Он сулил за Сашку чалого.

– Ну что же, – сказал Трошка. – Он, конечно, чуждый элемент, но мы на это можем и не посмотреть. Теперь всё дело в Сашке – как она намерена.

А Сашка говорит:

– А мне что? Ладно, пусть себе. Посмотрим, что ли, что это за нэпманская жизнь.

Сам Максим-татарин был магометанской веры, а она христианской, и поэтому они женились без попов. Гуляли очень шумно. Очень веселилась дочь Максима, Райка, девка восемнадцати лет от роду. Она была толстуха, ноги у нее были короткие, а туловище несуразное. Она толклась как ступа.

После этой свадьбы Трошку начали дразнить, что Сашку он сменял на чалого. Когда он на нем ездил, то соседи потешались и показывали пальцем и говорили:

– Вон, Трофим на Сашке едет.

Сашке нэпманская жизнь сначала очень нравилась, и она часто приезжала к нам в поселок разукрашенная, чтобы показаться дома и пройтись по станции. Максим давал ей денег столько, сколько она требовала, и она раскатывала в шарабане и трясла мошной – подписывалась на заем и покупала лотерейные билеты.

Ванька Черняков был должен что-то плотнику за новую избу, и на Страстной неделе плотник пришел спрашивать, Но Ваньке не хотелось отдавать ему. Он зол был на него за Кольку.

– Денег нету, – сказал он. – Приди опять на Пасхе.

А на Пасхе он опять не захотел платить. Тут плотник не поцеремонился с ним и исколотил его, а Ванька крикнул людям:

– Видели? – и побежал в чем был на станцию, чтобы пожаловаться в гепеу.

Оттуда с ним пришел товарищ в форме. Плотник в это

время перед нашим домом с Варькой, Фроськой и другими катал яйца.

– Ванька, – крикнул он, – тебе меня, что ль, нужно?

Вот он я.

Товарищ рассудил их, велел Ваньке уплатить, а плотнику не драться.

– Коли так, – сказал на это Ванька, – то пожалуйста. – И здесь же отдал денежки.

Но плотнику хотелось покуражиться над ним.

– Варвара, – сказал он, – я что-то утомился дравшись, да и деньги тяжело нести. Ты отвези меня вон в той тележке. Я тебе отсыплю пуд пшеницы.

А он жил в другой деревне, в двух верстах. Тележка была двухколесная. Она стояла во дворе у Трошки и была видна через плетень.

– Одной тебя не сдвинуть будет, борова, – сказала Варька. – Помоги, Трофимиха, – и Фроська согласилась. Она выкатила Трошкину тележку на дорогу и захохотала.

– Варька, – закричал Иван, – не смей! – А Варька сделала ему нахальное движение рукой и поясницей, ухватилась с Фроськой за оглобли и пустилась с нею.

– И-го-го, – орали они.

Плотник пробежал за ними несколько шагов, держась руками за тележку, потом брюхом вспрыгнул на нее и подтянулся.

– Но, кобылки, – стал вопить он и замахиваться.

Все они, конечно, были пьяные.

Через час с четвертью Варвара с Фроськой возвращаются, везут тележку, на тележке – пуд, гогочут и горланят, на ногах чуть держатся: в обеих деревнях им выносили из домов стаканчики и угощали их.

Они развесили свой пуд на два полпудика и унесли их в избы. Ванька начал упрекать Варвару, плакаться, что она делает его гороховым шутом. Старуха Разумеевна ему подтягивала. Варька обругала их обоих и легла храпеть.

Отца с Трофимом в это время не было. Они ходили позвонить на колокольне. Вышли они за руку, нарядные, с при-масленными волосами, в розовых рубахах, выпущенных на штаны, в жилетах и без пиджаков. Они христосовались по дороге с встречными и заходили то в один двор, то в другой – поздравить с праздником и выпить.

Наконец они вернулись. Они знали уже, как Варвара с Ефросинией возили плотника, и были недовольны. Трошка отругал жену и высыпал ее пшеницу на дорогу.

– Это зря, – сказал отец и велел матери собрать зерно с дороги и кормить им кур.

Пока она возилась на дороге, ползая на корточках и собирая на лопату гусиным крылышком пыль с зернышками, прикатила в таратайке Сашка, соскочила и кричит:

– Христос воскрес. Вот она и я. Махмутка, помоги-ка сундуки втащить.

Махмутка тоже спрыгнул и помог ей втащить к Трошке

сундуки – большой и маленький. Тогда она дала ему полтинник и отправила его:

– Катись теперь.

Увидя это, мы заинтересовались и скорей туда. А Сашке нужно поломаться, и она спрашивает, кто был в церкви, в чем ходили, были ли уже попы на нашей улице.

Отец тогда не выдержал, ударил кулаком с размаху по столу и рявкнул на нее:

– В чем дело? Говори, мерзавка.

Сашка для приличия жеманится немного и потом выпаливает, что приехала совсем.

Дескать, не нравится быть чуждой элементкой и вообще всё очень надоело. Райка страшно много жрет и каждую неделю ходит в фотографию сниматься – прямо нет терпенья.

– Ах они, татары, – говорит отец, – свиные уши чертовы. – И всё мы ей сочувствуем и проклинаяем Райку и Максимку.

Вдруг опять грохочет таратайка, останавливается, и входит сам Максим. Расшаркивается и поздравляет:

– С праздником вас.

Сашка кричит:

– Бейте его! – и визжит, вскочив на лавку.

Трошка орет:

– Бей его!

Мы все набрасываемся и лупим. Варька прибегает с мужем. Разумеевна является – толкаются, не могут протолкаться.

ся, чтобы тоже хоть разок его ударить.

Изгвоздали его, вываляли, весь костюмчик изодрали. Наконец устали, бросили его на таратайку и хлестнули его лошадь, чтобы его духу у нас не было.

А Лизуниха у своей калитки улыбается, поглядывая издали, полизывает губы, головой покачивает.

Скоро он опять явился. Сашка очень нравилась ему, и он не мог отвыкнуть от нее. Опять мы поучили его.

– Ты забудь сюда дорогу, сукин сын, – сказал ему папаша, – а не то покаешься, да поздно будет. Сашка нашей крови девка. Мы ее в обиду не дадим.

А он всё ездил, и мы каждый раз одно и то же. Как он от нас ноги уносил, не наше было дело.

– Ну теперь не сунется, скотина, – говорили мы.

А он опять являлся.

В Вознесенье все мы были пьяные. Трах – он уж тут как тут.

Сейчас же мы накидываемся на него – все три семейства.

Сашка кричит:

– В воду его!

Мы его суем в колодец. Он хватается руками за края. Пропихивается, расталкивая мужиков, Трофимиха, молотит его кулаком по пальцам, он срывается, бултыхается в воду. Разумеевна кричит:

– Багром его, а то не захлебнется, сволочь. Там воды по пояс только.

А у нас у всех багры были – ловить весной дрова на речке. Тут мамаша принялась за нас цепляться.

– Ироды, – кричит, – да что же это будет? Отвечать придется.

Если бы не Лизуниха, мы убили бы его. Спасибо, догадалась она, сбегала, пока не поздно было, в гепеу.

Максим-татарин видел, как мы дружно действуем против него, и захотел разъединить нас. Он стакнулся с Трошкой, угостил его, и Трошка перешел на его сторону.

Когда Максим опять приехал, Трошка заступился за него. Он выхватил из своего плетня кол, заревел, как зверь какой-нибудь, и разогнал нас.

Нас в тот вечер было мало. Ламповщик ушел на станцию, а наш Андрюшка был в поездке. Нам пришлось поджать хвосты.

Мы были в большой ярости. Мы подожгли бы Трошкину избу, но в ней были две наших бабы – Ефросиния и Сашка. Мы сидели до рассвета, не смыкали глаз и всячески ругали Трошку.

Поутру папаша собрался на станцию. Он опасался Трошки, как бы тот дорогой не напал на него, и достал с полатей костыли.

– Больного человека не посмеет тронуть, – сказал он, потрогал свою бороду и, навалясь подмышками на ручки костылей, толкнул перед собою дверь и выбросил через порог зараз обе ноги.

А Трошка уже ждал его.

– Не проведешь, подлюга, – закричал он и схватил свой кол.

Папаша бросил костыли и со всех ног пустился улепетывать, а он сломал один костыль, потом другой и расшвырял обломки.

После этого он запряг чалого, которого Максим-татарин дал ему за Сашку, и поехал в Красное Самсоновище за своими братьями.

Пока он ездил, Фроська с Сашкой захватили с собой кое-какой скарб, корову и перебежали к нам.

Вернулся Трошка. Он был сам-четвертый. Братья его были здоровенные, бородачи, косматые. Произошло сражение. Трошка с братьями разбили нас. Мы выдали им Фроську с Сашкой и корову, и они их продержали до утра в сарае.

Утром Трошка выпустил жену и Сашку из сарая и сказал им, что разводится. Двор и корову отдал Фроське, лошадь взял себе, весь скарб разделил поровну, а вещи, которых было по одной, перерубил на половинки. Погрузил доставшуюся ему долю на телегу, обвязал веревкой и уехал к братьям в Красное Самсоновище.

Сашка, чтобы не остаться беззащитною, решила снова выйти замуж. Лизуниха помогла ей и посватала ее за милиционера Проничева. С ним она и записалась.

Фроська же устроилась курьершей в сельсовете. Там освободилось место, потому что прежняя курьерша Лебеденкова

проворовалась на почтовых марках.

Варькин муж тем временем поехал на курорт, а Варька стала выходить на станцию, прогуливаться по платформе и любезничать с гуляющими кавалерами. С ней познакомился Сазонов, слесарь из депо, и начал к ней похаживать. Он был по ее вкусу, рыжий.

Разумеевна, как только он являлся, вылезала из своей избы, шла к Варькиной и принималась колотить в дверь палкой.

Слесарь открывал окно, выскакивал и улепетывал задами, а она кричала ему вслед:

– Держите его.

Варькину калитку она вымазала дегтем. Утром Варька мыла ее, подоткнув подол, и говорила людям:

– Не могу понять. Казалось бы, не шлюха, а ворота вымазали.

Ванька отгулял свой срок на водах и вернулся. Он узнал, как Варька поступала без него, и стал срамить ее.

– Ах, значит так? – сказала она, вышла, походила в огороде между грядками и объявила Ваньке, что разводится с ним.

Суд оставил детей Ваньке и ему же присудил посуду, чтобы было из чего кормить их. Но Варвара увела детей с собой и, когда ламповщик был на работе, не спускала глаз с его двора. Как только бабка отлучалась, она опроретью мчалась туда, открывала одно слабое окошко, лезла внутрь и тащила что-нибудь из утвари.

Иван не вынес этого и впал в отчаянье. Он взял у Лизунихи водки, выпил, не закусывая, и повесился в чулане.

Когда он толкнул ногами табуретку и она упала, он схватился за веревку, растянул чуть-чуть петлю и крикнул:

– Караул, спасите.

Разумеевна вбежала в чулан, вскрикнула, зажгла огонь, поставила под Ваньку табуретку, сбегала за Лизунихой, и одна из них косой обрезала веревку, а другая подхватила повалившегося Ваньку на руки.

Они позвали к нему Варьку и сказали ей:

– Любуйся. Что ты натворила, стерва?

И тогда она разжалобилась и вернулась к нему и вернула ему все ухваты и горшки, которые успела утащить у него.

Ванька очень радовался. Он решил еще раз сыграть свадьбу и созвал гостей. Красносамсоновищенским, которых он увидел на базаре, он велел звать Трошку с братьями.

Они приехали, и Трошка сговорился с Фроськой, что вернется к ней и тоже еще раз сыграет свадьбу.

Так они и сделали, а Сашка, чтобы всё было по-прежнему, ушла от Проничева и опять, как раньше, стала жить у них.

Рассказы

Прощание

Зима кончалась. В шесть часов уже светло было. Открыв глаза, Кунст видел трещины на потолке, из трещин получалась юбка и кривые ноги в башмаках с двумя ушками. За стеной сиделка уже шлепала своими туфлями без пяток и будила раненого. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. – Безобразие, – говорила она и показывала головой на стену. Замолчав, она прислушивалась и потом смеялась. Кунст краснел.

В студенческом пальто, с кусочком хлеба, завернутым в газету «Век», в кармане, он выходил из дома. Снег был тмен. Почки рожками торчали на концах ветвей. Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы. Сумасшедшие солдаты, разбредясь из лазаретов, бормотали на ходу. Встречалась прачка Ку бариха и здоровалась. – Порядочные люди разбежались, – горевала она, – нет уже тех жильцов. – Вот и она впустила к себе фею, уличную бабочку.

Звенел трамвай. – Вперед пройдите, – восклицал кондуктор. Лед на реках посерел уже. Перед домами было сухо. Саботажники с газетами кричали на углах. За Троицким мостом Кунст вылезал и шел по набережной. Темные дворцы

смотрели мрачно. Каменные старики стояли в рыжих нишах, разводя руками и выделявая па.

Иван Ильич уже писал, тщедушный, за большой конторкой с перламутровыми птицами, и Мирра Осиповна, поправляя волосы, уже сидела. В меховом воротнике, она поеживалась и подрагивала. – Слушайте, я замерзаю, – говорила она томно и драпировалась.

Прибегал начальник Глан, коротенький, в коротеньком костюме, и, усевшись в кресло, разворачивал свою газету «Луч». – «Навстречу голоду!» – прочитывал он громко. Девушка Маланья, колыхая мякотями, разносила чай. Мужчины на нее посматривали сбоку. Заходил инструктор Баумштейн с докладом, и начальник Глан величественно слушал его. – Честь имею, – козырял инструктор Баумштейн и подмигивал девицам. – Но какой он интересный, – удивлялись они. – Я пишу магистерскую диссертацию, – взглянув на окна, говорил тогда Иван Ильич, – и каждый вечер я на несколько часов позабываю эту жизнь. – Ах, я понимаю вас, – роняла набок голову и нежно улыбалась Мирра Осиповна.

– Время, – наконец, сорвавшись с места, складывал начальник Глан свой «Луч». Все схватывались. Доставалась пудра и карандаши для губ. Иван Ильич смотрелся в лак конторки и со скромным видом освежал пробор. У выхода стояли саботажники с газетами. – Вечерний, – кричали они звонко и приплясывали. Хлопали себя руками по бокам и топа-

ли ногами низенькие генералы с «Новым Временем». Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

Сбросив обувь и взяв в руки «Век», Кунст осторожно, чтобы не измять штаны, укладывался на кровать. Сиделка за стеной похрапывала. Возвращалась из конторы Фрида и шумела. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник. – Что в газетах? – говорила она и присаживалась. – Фрида все поет. Она такая поэтическая. Я была другая. – Иногда, таинственно хихикнув, она делала игривое лицо. – Письмо, – с ужимками вручала она и хитро смеялась. – Верно, от хорошенькой. – Кунст брал конверт и, посмотрев на свет, вскрывал. Писала тетка. «Приезжай, – звала она. – Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Стаял снег. Подсохло. Лед прошел – с дорогами и со следами лыж. На улицах уселись бабы с вербами. – Нам будет выдача, – обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич. – Мед с пчелами, – вскочила Мирра Осиповна и, считая, отогнула палец. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась. – Красная икра и грушевый компот в жестянках! – К концу дня костлявая девица с желтой головой промчалась через комнату. – Не расходитесь, – объявила она. – Ждите. Я поеду на грузовике за выдачей. – Возьмите двух вооруженных, – закричали ей. – Возьму, – сказала она, обернувшись, и светло взглянула: – И сама вооружусь. – Девица Симон, – проводив ее глазами, посмот-

рел Иван Ильич вокруг. – Пожалуй, правильнее было бы Симон, – предположил он погодя, подумав. Ждали долго. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась: – Как коров поить, – сравнила она. Тени появились. За окном газетчики кричали нараспев: Ви-чернии. – Кунст, опершись на подоконник, тихо подтянул им, и Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

– слезы лились
из вокзала

– шепотом пропели они вместе и сконфузились.

Настала пасха. Делать было нечего. Кунст спал, смотрелся в зеркало, ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли. – Ах, что вы получили, – разглядела она и прижала к сердцу руки. – Фриде дали воблу: тоже хорошо. – В соседней комнате сиделка угощалась с сослуживицами. Ударяли в бубен, пили спирт и крикали. Они ругали раненых: – Чуть выйдешь, – говорили они, – уж он порылся у тебя в корзине. – Дезинфекцией тянуло от них. Фрида, поэтическая, распустила волосы, открыла в коридоре форточку и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед палисадником. Кунст вышел, и они пошли за ним. Он встретил Кубариху в праздничном наряде. – Заверните, – зазвала она и подала кулич с цветком на верхней корке и яйца. Фея – уличная бабочка – была приглашена. Красиво

завитая, она скромно кашляла, чтобы прочистить горло, и учтиво говорила «да, пожалуйста», и «нет, мерси». – Вот то-то, – одобряла ее Кубариха, и она краснела.

Раздвигая прошлогодний лист, полезли из земли травинки. Птичка завелась на Черной речке и по вечерам посвистывала. Фея принялась ходить под окнами. Конфузясь, Кунст задергивался занавеской. Беженцы из Риги стали приезжать из города по воскресеньям. Сняв чулки и башмаки, они сидели над водой. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них. – Мои компатриоты, – поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть и сняла свой воротник. Она носила с собой ветки с маленькими листиками и, потребовав у девушки Маланьи кружку, ставила их в воду. Забегал инструктор Баумштейн и, нагнувшись, нюхал их. – Ах, – заводя глаза, вздыхал он. – Утро года, – говорил Иван Ильич, обдергиваясь. Перламутр на его конторке блестел. За окнами синелось небо, Кунст засматривался, и письмо от тетки вспоминалось ему.

Приоткрыв однажды дверь, девица Симон крикнула, что выписали наградные. – Неужели? – поднялась и томно сомневалась Мирра Осиповна. Девушка Маланья появилась среди шума. – Получать, – осклабясь, позвала она. Все ринулись. – Расписывайтесь, – ликовала за столом бухгалтерша и стригла листы денег. – Дельная бабенка, – толковали про нее, толпясь. – Урок для скептиков, – сказал Иван Ильич и

посмотрел на Мирру Осиповну. Девушка Маланья шлепнула кого-то по рукам. Приятно было. Через день пришел мужчина и созвал собрание: союз не допускает наградных. Постановили, что их нужно вычесть, и вернулись на места уныло. – Я не ожидала, – говорила Мирра Осиповна мрачно. Вытащив из кружки свою ветку с листьями, она ломала ее. – Вы читали Макса Штирнера? – согнувшись и повеся нос, бродил Иван Ильич. Кунст думал, положив на руки голову.

«Я еду», – написал он тетке и купил билет. В последний раз хозяйка принесла вечерний чайник. – Я сама уехала бы, – села она и потеряла рукавом глаза. – Курляндская губерния, – потряхивая головой, торжественно сказала она, – никогда не позабуду я тебя. – Кунст вышел на крыльцо. Луна без блеска, красная, тяжеловесная, как мармеладный полумесяц, пробиралась над задворками. Закутавшись в большой платок, сиделка, неподвижная, сидела на ступеньке. Кунст сел выше. Красный запад был исчерчен пыльными полосками. Далеко свистнул паровоз. – Фильянка, – прошептала, не пошевелилась, сиделка. – Может быть, приморская, – подумал молча Кунст. С рассветом подкатил извозчик. Капал дождь. – Прощайте, – крикнула с крыльца хозяйка. – Прощайте, – обернулся Кунст. – Прощайте, – высунулась Фрида из окна. – Прощайте. – Поэтическая, в одеяле и чепце, она махала голыми руками. Фея – уличная бабочка, позевывая, шла домой. – Прощайте.

Козлова

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет Бог и расточатся враги его.

Козлова приложила и, растирая на лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного Бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла «Интернационал».

– Мерзавцы, – шептала Козлова, – гонители... – Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот – чай. Мосье рассказывает о лурдской Богородице. Авдотья отворяет дверь и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами. – Приветливая женщина, – говорит мосье. Потом он берет за шляпу, Козлова встает, и они отража-

ются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она – прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах – старомодная улыбка. – Приходите, мосье...

А вот – в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья. – Как грустно, мосье... – Девушка в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и выпускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном.

– Так и вы, мосье, забудьте нас, как сон.

– О, мадмуазель!

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де Тэб», – напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке – штопала белье или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский

день – ходили с Авдотьей в баню, орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. – Гражданка, гражданочка, – высываваясь из будок, зазывали торговки, – барышня или дамочка!

Иногда приходила Сулова, и долго пили чай; хозяйка – чинная, с любезной улыбкой, гостя – растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях.

– В Петербурге я кого-то видела, – рассказывала круглощекая Сулова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая – с Адмиралтейством). – Не знаю, может быть, саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и – порх в подъезд.

– Может быть, экономка с покупками, – отвечала Козлова.

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров.

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

– Мерзавцы, гонители...

– Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встрети-

ли Демещенку, Гаращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

– Венеция, – прошептала Козлова.

– «Венеция э Наполи»,¹⁷ – ответила Сулова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно:

– Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо пахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу – в синей епитрахили, как на иконе.

Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано: «Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де Тэб».

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с Преображением и зеленым куполом стоял над кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки – простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с Преображением.

«Недолго мучиться», – радостно думала Козлова, смотря

¹⁷ «Венеция и Неаполь» (ит.).

ему вслед.

Обедала поспешно – хотела сходить к Сусловой, но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Солнце садилось, и закат был простенький: одна полоска – красноватая и одна зеленеватая. Козлова была любительница поливать. – Когда поливаешь, – говорила она, – душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезающих лужицах. Загремел оркестр. Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет пробегал по лицам маршировщиков.

– Ать, два!левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура!

Разинув рот, маршировала Сулова.

Из темноты прибежала Авдотья: – Англия воюет. – Пред киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью.

С светлым лицом Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. – Пасха, – наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Сулову.

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа, подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: «Товарищ Ленин».

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

– Завтра – Иоанна-воина, – сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. – Когда вы с кем-нибудь поспорите, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и знаете – ее забрали и присудили на три года.

«Хорошая женщина, – подумала Козлова, – религиозная... Сутыркина, кажется».

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: – Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова – степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина – вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

– Свое холщовое пальто, – говорила Сутыркина, – я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них ка-

раулила сад. Жила в шалаше. Приходили знако мые, и, скажу, не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

– Вы говорите, в девятнадцатом году, – сказала она любезным и приятным голосом. – Помните, все тогда ахали – того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиток хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

– Вы не были на губернской олимпиаде? – спрашивала иногда Сутыркина. – Почти совсем голые! Фу, какое неприличие. – И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась, и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись клены. Рябины с красными кистями напомнили Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала Сутыркина: – Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов. – Козлова поджала губы.

– Знаете, – с достоинством сказала ей Сутыркина, – я всегда соображаю с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку – пополнять свои сельскохозяй-

ственные знания.

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Каллегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

– Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина – к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое – от епископа: седьмого ноября во всех церквях будет торжественная служба и благодарственный молебен.

– Понимаете, какое теперь веяние?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника. Александра Николаевна вышла за Петра Ивановича – стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была моло-

денькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Сулова – красная, в большом платке, с петухом под мышкой.

– Ну как? – бормотала она. – Давно не встречались... Тяжело жить. Вот купила петуха – на два раза.

При такой-то семье... Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за руки.

– Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам...

Из ворот был виден монастырь святого Кукши – тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое Адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Сулова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито пахнуть керосином. – Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, – скажет Козлова. – Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество – желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье

Пуэнкарэ.

Встречи с Лиз

1

Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула с улицы Германской революции на улицу Третьего интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадиллом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился на реку.

«Пожалуй, – мечтал он, – уже разделась. Ах, черт возьми!»

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоня лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы с связками непроданных лаптей и перед прорубью жижи-

лись на брюхо и, свесив голову, сосали воду:

– Животные, – злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

«Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков», – подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы – «Теща в дом – все вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за Евангелием.
– Я исповедовалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари»¹⁸ стали пить чашку за чашкой – седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубаше с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

¹⁸ «Король в Париже» (фр.).

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела идти к Фишкиной – графить бумагу.

– Читали газету? – спросила она, подняв брови: – Есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей». – И, откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер.

Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

– Товарищ Кукин.

Приотворилась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

– Вы ей понравились, – выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась. – Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

– Возможно, – радовался Кукин. – В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать. – И ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородастым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

подайте милостыньку, христа ради,
что милость ваша —
кормилица наша,
глухой больной старушке.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине – в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!» – «Долой домашние! Очаги!»

– Что-нибудь революционное, – попросил Кукин. Девушка с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

– Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, черт возьми? а он уже видел себя с теми книжками – встречается Фишкина: – Что это у вас? Да? – значит, вы сочувствуете!

Мать сидела на диване с гостьей – Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

– Не слышно, скоро переменится режим? – томно спросила Золотухина, протягивая руку.

– Перемены не предвидятся, – строго ответил Кукин. – И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

– Где хороша весна, – вздохнула Золотухина, – так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»...

Ну, а вы, молодой человек: вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

– Еще бы, – сказал Кукин. – Культурная жизнь... – И ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: – Играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью...

О, Петербург!

3

– Идемте, идемте, – звала Золотухина. – Долой Румынию. Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго. Развевались флаги и, опадая, задевали понос:

эх, вы, буржуи,

эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

– Вот, все развалится, – вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки, – где тогда жить?

Фишкина презрительно посматривала направо и налево: – Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, маршировала и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

– В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени, – прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса. – Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали „Сад пыток“? – чудная вещь».

– Лиз, – сказал Кукин, – я вам буду верен...

– Плохи стали мои ноги, – жаловалась мать. – Сделала студень и оладьи, хотела отнести владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Александриху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали.

– Сейчас, – сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

– Ах, – вздохнул он, – не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками на насыпанной вдоль батальона песочной полоске. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвалась с места и отправилась.

За ней бы? – но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе – Александриха в холщовом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстучком – и белесым отражением мелькали в черных окошках.

– Утром дух бывает очень вольный, – рассказывала Александриха...

Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба – какое предзнаменование!

4

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зе-

ленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

– Трудящиеся всех стран, – мечтательно говорил Кукину кассир со станции, – ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшийся, с блестящими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

– Девка утонула!

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках – с ворохами лаптей за спиной, купальщицы – застегивали пуговицы.

– Вот ее одёжа, – таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором.

– Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплыла за поворот, чтобы мужчины видели.

«Почему вы к ней не подъезжаете? – писала Рива. – Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

деньги у кого,
сад наш посещает,
а без денег кто —
в щелки подглядает.

После него сейчас же подойдите: – Что за обывательщина!

Я удивляюсь – никакого марксистского подхода!»

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленького колокола, звук большого – у святого Евпла зазвонили к похоронам.

Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

– Курицыну, – объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос: – Фу! – Чего же вы хотите в этакое пекло, – заступилась Золотухина. – А мне ее душевно жаль.

– Конечно, – сказал Кукин, – девушка с образованием...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели «Интернационал».

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза.

– В ротах, – встрепенулась Золотухина, – в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже, царя». А перед казармой – клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь, – показала она на желтого Евпла с белыми столбиками, – она напоминает петербургские.

Все повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесунчовой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

– Интересная особа, – сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

Лидия

1

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуай-аж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

– лейся, песнь моя,
пионерска-я!

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

–левой?

– Это кто ж такой? – спросила Зайцева.

– Вожатый, – пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

– Здравствуйте, – сказал он. – Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

– Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. – Каковы китайцы, – восхищался он. Напился чаю и лег спать. Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

– Водили к козлику? – интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе.

Выплыла луна.

– Я пробовала все ликеры, – сказала Дудкина задумчиво. – У Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле попевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

– Принимаю икону, – похвалилась она.

– А мы – к утопленнику, – крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены дени-

кинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные. – Дом Зуева, – вздохнула Дудкина. – Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по двое и по трое солдаты.

Над водоворотом толклись зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку – нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

– Нырни, – веселились они, – и скажи: под лавкой.

Смеялись: – Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: – Эх, молодость!

– «Левой!» – замечталась Зайцева. Возвращаясь, поболтали о политике.

– Отовсюду бы их, – кипятился муж.

– Нет, я – за образованные нации, – не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клочок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда – повеселел.

– Утопленник, – рассказывал он новость, – выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик, и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок», – прочла Зайцева над дверью. Вскочила.

– Я мыла голову, – уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. – Откупорила квас.

У меня печник: вчера поставила драчёну – получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от груди прилипавшую кофту.

– Радуга! – Девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастый, без пояса, босиком, размахив-

вая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

– Ихний? – просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

– красная армия
всех сильней!

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрвав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвала:

– Лидия, Лидия!

– Лидия, Лидия, – вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

– Жоржик, – закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. – Не женское имя, – объясняла она.

Савкина

1

Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом. – Двери! Двери! – закричали конторщики. Вошел кавалер – щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска. Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов. Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. – Все так прилично одеты, – уверяла Олимпия и тарщила глаза. – У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!..

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол. – Не очень налегайте на пироги, – предупредила мать и пригорюнилась: – Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания.

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин, вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

– Обижаются, что без ксендза, – пожаловался он. – А когда я – партийный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками: «Чуден Днепр при тихой погоде».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился.

Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

– Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел, – сказала она, – и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась и прошла мимо Савкиной Марья Ивановна Бабкина, француженка, – в соломенной шляпе с желтым атласом и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета «Красный луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

Оглядывая друг друга, расхаживали по залу. Мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и шмыгала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски!

– Буржуазно одета, – показывал он. – Ах, чтоб ее!.. – На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн¹⁹ Байбл стояли на палубах... И вот мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руки к пароходу, проплывавшему в

¹⁹ Член клуба (англ.).

ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил Байбл – в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнованна. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки. Капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

3

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене. На деревьях зеленели яблоки. Небо было серенькое, золотые купола – белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленые задворки. Купались два верзилы – и не горланили.

Савкина вошла в воротца. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома пили чай. Сидела гостья.

– Наука доказала, – хвастался Павлушенька, – что бога нет.

– Допустим, – возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо. – Но как вы объясните, например, такое выражение: мир Божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила на блюдечко.

– Опять я их встретила.

– Не собирается ли в католичество? – мечтательно предположила гостья, улыбаясь.

– Проще, – сказал Павлушенька и махнул рукой. Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

– Съешьте плюшечку, – усердствовала мать, – американская мука, вообразите, что вы – в Америке!

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

4

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорвала с куста маленькую розу и нюхала. Она устала – задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаком в руке новая жилица и пошла к сапожнику... Мимо палисадника прошел отец Иван.

– Роза, Роза, – вбежал в дом Павлушенька. – Где моя газета с статьей про Бабкину? – Запыхавшись, высунулся из окна. – Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я

рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка... — Этот, — говорит, — пень, давайте выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тубетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сарай, — сказала мать в комнате. — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови к чаю.

— всех коммунаров, —

пели за сараями, —

он сам привлекал
к жестокой, мучительной казни.

Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

Ерыгин

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волосы чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч.

«Физкультура, – подумал Ерыгин, – залог здоровья трудящихся».

Базар был большой. Стояла вонища. Китайцы показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы. – Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет. – Ерыгин прошелся по рядам – не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ

в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке: – Клеопатра – русское имя? – Да. – А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. – Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать. – Так как же на бухгалтерские? – Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, – короче. – Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте. – Я извиняюсь, – сказала она. – Не знаете, откуда эта музыка? – Возвращаются со смычки с Красной Армией, – ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот если бы поставить ведра, а самому – шась к ней в окно.

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрагивала голову – не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы; розовый рог изобилия в золотой руке, голубой – в серебряной. Мать штопала. Ерыгин переписывал:

Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной Армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП(б).

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы. – Ура! – играла музыка, торжествовали и, гордясь отечеством, смотрели друг на друга.

– Совет репёблик.

– Реакшён фашишт.²⁰

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и Двенадцатью Произведениями Мировой Живописи, Ерыгин – за решетку. Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать. Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных...

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвила окоп и приколола к кофте резеду.

²⁰ Советская республика. Фашистская реакция (испорч. англ.).

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девушки выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер – в пользу наводнения.

– Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся красного Ленинграда!

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музей. Их обгоняют дюжие матросы – бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом... – Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата! – Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, на беленная, с свинными глазками, и с ней – кассир Едрёнкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала телега, блестя шипами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

– Ты? – удивилась мать. – Скоро!

3

«Настя» будет напечатана. Пишите»...

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кину-

лись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязывали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады. – Кинематограф, – посмеялась мать и засучила рукава – мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блеснул. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными и красными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку. – Мы поступили на бухгалтерские. – Нет, – сказал Ерыгин, – у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобрались на перила и спрыгнули.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракетами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал подкозырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился: ничего из жизни Красной Армии или ответственных работников не приходило в голову.

Шагает рота, красная, с узелками и венниками, хочет квасу...

Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генера-

лову. А у него на кушетке Фаня Яковлевна с Красной Пресней – принесли котлету. – Товарищ, прошу оставить этот кабинет...

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

Мадмазель Вуни, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует: «Немцы – звери». – На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенные императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками... – До свиданья. – Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня – сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна – красная, тусклая, кривая.

Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой, и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны были тарелки с хлебом и горчицницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша. – Бельгийский город Льеж посмотрите? – подкрадывался панорамщик. Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские. Будет

много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярии убрали транспаранты и гирлянды из крашенных бумажек: – Империалистические хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа.

За рекой было бело – с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок, тонко исчерченный...

По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша – затевают контрреволюцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на

вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП(б), она – ни да, ни нет. В чем дело? Вот Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

Конопатчикова

1

Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из подкомиссии, стриженная, с побритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление было ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрев направо и налево, незаметно поднялась и улизнула. – Боль в висках, – пробормотала на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись страухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, погладывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете, инвалидка Кац, величественная, отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Въезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. Обдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала: – Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Раздался первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

– Жизнь проходит, – вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

так жизнь молодая
проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чиркнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы.

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2

«Машинистка Колотовкина, – поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой, – пассивна и мате-

риально обеспечена.

зачем писать ей на машине?
может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина.

Похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками: «Ль эглиз дэз Энвалид», «Статю дэ Анри Катр».²¹

– Парижская вещица, – любовался Вдовкин. – Я и сам люблю пасьянсы, – говорил он. – «Дама», например, «В плену», «Всевидящее око»...

– «Деревенская дорога», – подсказала Конопатчикова.

Вытянули перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнике.

и зачем ты себе все это шил, —

причитала она, —

если ты носить не хотел? —

и притопывала.

²¹ «Церковь Инвалидов», «Памятник Генриху Четвертому» (фр.).

и зачем ты пол в погребѣ
цементом заливал,
если ты – жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

«Жизнь без труда, – было написано над сценой в театре стружечного, – воровство, а без искусства – варварство». Оркестр играл кадрили.

Рвал, рвякая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадам-мазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, трясая юбчками, вскрикивали под балалайки:

чтоб на службу
поступить,
так в союзе
надо быть.

– Эх, – сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчи-кова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

– Счастливые, – скрестила на груди ладони и задумалась

Березынькина.

– Они, – проникновенным голосом сказала Конопатчикова, – читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла края лампы: загорелись звезды над швейцарскими горами и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. С скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

– Не откажите, – двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу. – Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадиллом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушалчиха кричала и потряхивала капитанниковскими костюмчиками. – Маруська убивается? – спросила она, наклоняясь и прикрывая рот рукой, и, выпря-

мившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Средняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вдыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей набок голову Березынькиной. Конопатчикова проводила их глазами.

– Продала, – сказала, протолкавшись, Глушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровнях, спиной к лошадям. Блестела на дороге жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизолиловый дым

взлетал над паровозами. В плите шумел огонь. Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

– Никишка, – говорила Полушалъчиха и плакала над хреном, – нарисовал картину «Ленин»: это – загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молотила, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завитая, припудренная, сидела на диване и сворачивала в трубку листик от календаря: рисунок «Нищета в Германии» и две статьи – «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

– Благодарю, Марусенька, – учила Полушалъчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свих».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворяющуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распарившись над супом, блестя-

ли. Полушалычиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала. Повеяло акацией. Любезно улыбаясь, прибыла внушительная Куроедова. – Как ваши, – с уважением справлялись у нее, – на стружечном? – Они, – засуетилась Конопатчикова, – еще читают эту книгу интересную? – «Тарзан»? – спросила Куроедова, глотая.

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили. – Есть смысл, – доказывала Куроедова, – покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые глаза, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала: – Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами. – Искусство, – восклицал он. Полушалычиха пришла из кухни и, гордясь, стояла. – Тайна красок!

– Жизнь без искусства – варварство, – цитировал рабкор Петров... Зеленое кашне висело у него на шее.

– Я не могу, – заговорил задумавшийся Вдовкин, – забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они что-то подсыпали, и тогда распространялось несказанное благоухание.

– В Витебске, – нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо, – к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами,

счастливая, макала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

Дориан Грей

1

Заходил правозаступник Иванов – с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой – грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

– перед ротой командир, —

пели солдаты, —

хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться. Пришел отец, веселый:

– Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

– Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Грызлова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике.

– Сегодняшний ветер, – подняла она палец, – до Вознесенья.

То там, то здесь ударили в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на середине, перед лакированным крестом.

– Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольной:

– Нюрка, шесть раз бей.

– Я полагаю, вы неверующая, – подошла курносенькая регистраторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

– русский, немец и поляк,

– напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

– Ваня, не падай...

– Кто это?

– Не знаю. Вылитая копия Дориана Грея – как вы полагаете?

Ваня. Плескались в вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками. Ваня.

2

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

– Вы не Василий Логгинович? – прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово „За что умер Христос“».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутылки с вишнями и сахарным песком.

Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелия старуха в красной кофте – уборщица Осипиха.

– Товарищ Сорокина, – сказала она, – я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснелся отсвет от вазочки с вареньем.

– Религия – единственное, что нам осталось, – задумчиво говорила мать: – Пахомова – кривляка, но она – религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся рассказывать таинственные случаи. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбоченивались, покуривали и глазели. Заиграли вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцевали с кавалерами. Расходясь, раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

– Ваня, – может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

– Не забираться же с пяти, раз – в шесть.

Она взяла бы его за руку, и он ее повел бы:

– Мы поедem в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху, как на блюдечке. Старуха Грызлова прогуливалась – в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

– Шершавым кверху, – примечала она: – к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки.

Она сидела за роялем и играла вальс «Диана». Правозаступник Иванов, опершись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

– дэ ин юс вокандо,
дэ акционэ данда.²²

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

²² Действовать, опираясь на закон (лат.).

– Мама, – кляузничала девчонка за забором, – Манька поросенка то розгами, то – пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

– «Джимми Хиггинс»?

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах:

– В Америке рекламы пишутся на облаках... – Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

– Говорят, я гуляка, – горевала она, – а я и дорог не знаю.

– В первую декаду – иссушающие ядра, – предложил газету зеленоватый старичок, – во вторую – обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

– Пройдемтесь в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

– Помните, – оглянулась и понизила голос Мильонщикова, – однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари. Расстались не скоро.

– Эти звезды, – показала Сорокина, – называются Сэпт-энтрионэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

За окном собака лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан», – там и сям было напечатано в книге:
– «Дориан, Дориан».

Сиделка

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

– Здорово, – трогал шапку Мухин. Улыбаясь, бежал вниз. Выше колен – болело от футбола.

Толкались перед дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

– Вольдемар – мое равнодушие, – говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза...

Наконец отправились. Играла музыка. На кумаче блестела позолота. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, торчало что-то тощее.

– Вдруг там скелет, – хихикала товарищ Окунь.

Сдернули холстину. Приспустились флаги. Заиграл оркестр. У памятника егозили, подсаживали взлезавших на трибуну.

– Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач!

Вертелись. Сзади было кладбище, справа – исправдом, впереди – казармы.

Щекастая в косынке – сиделка, – высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями – зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком, с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

– Каково произведение, – протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острие.

Сиделка уходила.

– Мне необходимо, – устремился Мухин. – Пардон.

Дорогу перерезали. Трубя, маршировали – хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Семкину.

– вы жертвою пали.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, ревя, смотрела из ворот.

– Дисциплинированная, – похвалил растратчик Мишка-Доброхим, – в процессии не участвует.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на две – ближнюю и дальнюю.

Запихав руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

– Выпустили? – встрепенулся и поздравил его Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

– Иду домой, – простился Мишка. – Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» – мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностаи, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого – куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник – образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и попевала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

– Нет, – покачал Мухин головой печально, – кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

– Это верно, – согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептались. Шелестели листья под ногами.

Шли под руку. Задумчивые, напевали:

– чистим, чистим,
чистим, чистим,
чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды.

Зашли в купальню и жалели, что не захватили скамеечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билет...

В столовой «Моссельпром» гремела музыка. Таинственно горела маленькая лампа. – Где вода дорога? – говорили за столиком. – Рога у коровы, вода – в реке.

За прилавком дремала хохотушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: – Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

– Я чуть не познакомился с сиделкой, – сказал Мухин.

Лекпом

Человек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка.

– Фельдшер? – спросила она и стояла, как маленькая, смотря на него.

Он поднял брови, соединявшиеся на переносице, и взглянул снисходительно:

– Лекпом, – поклонился он. Идти было скользко. Он взял ее под руку.

– Ах, – удивилась она. Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик.

– Сюда. – С трех сторон темнелись сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. Взбежали по лестнице, в кухне сняли пальто и повесили их на дверь.

В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой.

– Разбудить? – заглянув туда, вышла на цыпочках телеграфистка.

– Нет, – помахал он галантно руками. – До поезда долго, пусть спит. – Оборачиваясь, она выкралась в кухню и стала греметь самоваром.

Цикламен цвел в горшке. Лекпом нюхал. Под окном шла дорога, валялась солома. За плетнем лежал снег, и из снега торчала ботва.

Пили чай и тихонько говорили про город.

– Интересная жизнь, – восхищался лекпом, – Мери Пикфорд играет прекрасно.

Он смотрел на огонь и, чуть-чуть улыбаясь, задумывался. Брови были приподняты. Волосок, не захваченный бритвой, блестел под губой.

Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал пищать.

– Женни Юго брюнетка, – заливался лекпом и сам же заслушивался. – Она – ваш портрет.

Поджав ноги и съезжившись, телеграфистка молчала. Глаза ее были полузакрыты и темны от расширившихся, как под атропином, зрачков.

– Вас знобит, – присмотрелся лекпом. – Вы простудились. Весна подкузьмила вас. – Нет, я здорова, – сказала она и застучала зубами, – может быть, форточка.

Он оглянулся и повертел головой: – Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед выходом из дому – есть. – Она встала и начала мыть посуду, стучая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурыкал романс. Мать проснулась.

Отец

На могиле летчика был крест – пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там, где хмель, была зарыта мать. – Мы к ней потом, – сказал отец, – а то мы опоздаем к волнам.

Заревел гудок. – Скорее, – закричали мальчики. – Скорее, – зашпешил отец. Все побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбегали по тропинке, и гудок опять раздался. – Опоздаем, – подгонял отец. Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

– Шлеп, – набежала первая волна. – Скорей! – все бросились.

Река была как море. — Ух, — кричали люди и подскакивали. — Ух, — кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая. — Ух, ух, — кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любови Ивановне. Он думал: — Но зато я неплохой отец.

Назад шли медленно. — А то купанье, — говорил отец, — сойдет на нет. — Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь, — сказал отец у липы. — Я приду. — Они уселись, сняв картузики, и взялись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, черные. Верхи крестов высывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любови Ивановны и мылся: как и что сказать? А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

Матрос

Лешка соскочил с кровати. Мать дежурила.

Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониha. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка – с тигром.

– Фу, – покосилась Трифониha, – поросенок! – и, важная, отправилась за булками.

– Я мылся, – крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

– Дяденька, – умильно попросился Лешка, – прокати, – и водовоз позволил ему сесть на бочку. Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленным молоком, кондукторша в очках, которая гнала корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

– Обокрали чердак, – показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце поднялось и припекало. Освещало ситный в чайной у Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал

афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке:

– Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос...

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались. Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны.

Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! С мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакывая:

– В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У

Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку – за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке – вскочили.

Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались – как крученный ситный у Силебиной на полке.

– Это я его привел, – хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщички боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спереди – пора обедать.

Мать ждала. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом – на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

– И мы устроимся, – обрадовалась мать и сбегала за одеялом. Лежали. Лешка положил к ней на колени голову. Она перебирала пальцами в его кудлатых волосах. По небу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

Хотелось спать и не хотелось...

– Бабочки, – вскочила мать, – купаться, так купаться: опоздаем на бесплатное.

Бесплатное!

Повскакивали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали наперегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

платье бедняги за корни цепляется,
ветви вплелись в волосы.

Срывали жесткую высокую траву – класть под ноги, когда выходишь на берег. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Садилось солнце. Начали кусаться комары. Заквакали лягушки. Небо выцвело. Трава похолодела. Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф

не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысоко, прибитая россой. Силебина сидела на крылечке – тихо-тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцем, не орала. В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном – миленький...

Вздыхая, по двору прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки – соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег.

Хиромантия

Петров с наслаждением вдохнул продушенный воздух и, сосчитав ожидающих, сел. Ладислас извинился, отлучился от бреемого и задвинул задвижку. – Я успел, – посмеялся Петров и подумал, что это к хорошему.

Парикмахеры брили в молчании – устали, спешили и не отпускали учтивостей. Звякали ножницы. Рождество наступало. Колокола были сняты и не гудели за окнами. – Пи, – басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик.

Петров не читал. Он – просматривал. Он уже изучил эту книгу с изображенными на каждой странице ладонями. Он кончил ее вчера вечером и, закрыв, присел к зеркальцу и вспомнил стишки, которые когда-то разучивал в школе:

исполнен долг, завещанный от Бога
мне, грешному.

Подбритый и подстриженный, он вышел. Он благоухал. Усы, бородка и завитушки меха на углах воротника покрылись инеем. Высокая луна плыла в зеленом круге. Жесткий снег переливался блестками. Как днем, отчетливы были афиши на стенах. Петров уже читал их: показательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, минералогии и Сакко и Ванцетти снизил цены.

Маргарита Титовна жила недалеко. Петров смеялся. Как всегда, она шмыгнет в другую комнату, мать будет ее звать, она придет, зевая и раскачиваясь, и состроит кислую гримасу. Не смущаясь, он задержит ее руку, повернет ладонью вверх, прочтет, что было и что будет, кого надо избегать. Она заслушается... – Маргарита Титовна, – пел мысленно Петров, ликуя и покачивая станом.

Громко разговаривая, пробежали под руку два друга в финских шапках. – Я ей сделал оскорбительное предложение, – услышал Петров, – она не согласилась. – Он задумался: она не согласилась – предзнаменование, пожалуй, неблагоприятное.

И правда: Маргариты Титовны не оказалось дома. – У музей ушодчи, – посочувствовала мать. – Ко всенощной теперь не мода, – посмеялась она. – Да, – вздохнул Петров. – Мышь одолела, – занимала его мать беседой. – Я на крюк в ловушке насадила сало: уж теперь поймается. – Поймается, – поохотал Петров.

Шаги визжали. Провода и ветви были белы.

Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну.

Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа. Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки. – Билет, – потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию,

выглядывавшую из кармана.

Пожалуйста

Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было. – Сходите к бабке, – научили женщины, – она поможет. – Селезнева заперла калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники.

Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли – с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им – рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. – Тетка, эй, – кричали мальчуганы и катились на салазках под ноги.

Дворы внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдали видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

– Смотрите на ту сосенку, – сказала бабка, – и не думайте. – Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. – Вот соль, – толкнула

Селезневу бабка, – вы подсыпьте ей...

Коза нагнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла. – Вот вы где, – сказала гостья в самодельной шляпе, низенькая. Селезнева поздоровалась с ней. – Он придет смотреть вас, – объявила гостья. – Я – советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело – полон дом вещей. – Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись, медленно.

Гость прибыл – в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. – Я извиняюсь, – говорил он и, блестя глазами, ухмылялся в сивые усы. – Напротив, – отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя.

– Время мчится, – удивлялся гость. – Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

– Сестры,

– посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просяив.

– наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.

– Братья,

– раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала:

раскройте друг другу объятия:
пройдены годы страдания и слез.

– Прекрасно, – ликовала гостья. – Чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно. – Да, – кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. – До свиданья, – распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрым пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним. – Да она жива, – войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой. Мальчишки побежали за санями. – Дохлая коза, – кричали они и скакали. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

– Здравствуйте, – внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся, в котиковой шапке из покойницыной муфты, и блестел глазами. Его щеки лоснились. – Ворота у вас настезь, – говорил он, – в школу рановато, дай-ка, думаю. – Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво. – Плачу и рыдаю, – начал напевать он, – едва вижу смерть. – Потупясь, Селезнева прикосалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали

на рукава. Ворона каркнула. – Ну что же, – оттопырил гость усы. – Не буду вас задерживать. Я вот хочу прислать к вам женщину: поговорить. – Пожалуйста, – сказала Селезнева.

Сад

Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы. – А в будущем году еще прекрасней будет, – говорил садовник Чау-Динши. Растроганные делегатки окружили его. – Можете пустить фонтан? – просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них. – Ишь, – сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под акацией. – Господин китаец, что я вам скажу, – подозвала она. – Сегодня будем хоронить Таисию, уборщицу: вы, пожалуйста, уже. – С огромным удовольствием, – ответил Чау-Динши, и она встала и пожала ему руку. – Мы надеемся, – простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретила её, и она остановилась и любезно поздоровалась: – Мое почтение, товарищ Липецкая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

гудками встречен день. Трудящиеся,

– и она, под плеск фонтана, декламировала их. Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей, Она заголосила. – Это кучер доказал, – сказала она.

Гроб с Таисией прибыл из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними – машинистки: Закушняк и Полуектова. – Но, – крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Динши прошел по саду с колокольчиком и выпроводил посетителей. Он запер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница. – Уборщица окрэспеэс, – ответил Чау-Динши любезно. – Знаю я ее, – сказала радостно пенсионерка Закс. – Я с ней служила вместе, когда я была секретарем союза работпрос. – Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засыпали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девушки побежали. Секретарь союза медсантруд дал им по деле-

гатскому талону на обед в столовой – надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, прыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

– Товарищ профуполномоченный, – учтиво говорила она, – на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекар окрэм-бейт, товарищ Липец, инженер-электротехник, еще сидел. Он подал заявление о прибавке и начал каждый день задерживаться. Он держал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери:

гудками встречен день. Трудящиеся.

Чернякова заперла все двери и смотрела на него. – Товарищ Липецков, – почтительно сказала она, проведя ладонью по губам, – я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассья ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой. – Хорошо? – спросила она и заторопилась. Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух.

На кадках пальм было выведено «Новозыбков». На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей. – Вы и сами лимонады, – наливая ей стаканчик, говорил он, – только красненькие. – Неужели я такая красненькая? – удивлялась она. – Ишь ты, – посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окрестности она открыла окна. Воздух ворвался. За крышами видны были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала уборку. – Вы такие красненькие, – говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке: подымалась пыль и затемняла солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из «туаль-дю-нор»,²³ сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч. Пенсионерка Закс ходила за китайцем.

– Я воображаю, как вам скучно с нами, – говорила она. Чернякова подошла и слушала с участием. – Умерла Таисия, – сказала она, кашлянув. Побагровели облака и побледнели. Съезд союза медсантруд закрылся и запел «Вставай».

²³ Букв.: холст с севера (фр.).

Цветы запахи. Громкоговоритель закричал «Алло». Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Динши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. Запах сена прилетал с лугов. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло. – Господин китаец, это красота, – сказала Чернякова. – Замечательные вещи, – согласился Чау-Динши. Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась. – Не подумайте, что я устала, – предостерегла она.

Костры плотовщиков горели у реки. Луна восходила. Золотые буквы водной станции окрэспеэс блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям. – Мое почтение, – приветливо здоровались они, – как поживаете? – и жали ему руку. – Прилетела культотдельша, – рассказал он, – требовала, чтобы все были в трусах. – Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала. – Кучер на меня доказывает, сукин сын, – пожаловалась Чернякова. – Эх, – сказала она, заиграла на губах и завертелась, грохоча. Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

вы такие

красненькии —

выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекав окрэмбеит, прогуливался вместе с ней.

Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза медсантруд. Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

гудками встречен день. Трудящиеся.

Портрет

1

Как всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина.

Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутит, кивнув на мои ведра: – Фызыккультура.

Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воротах, распахнув калитку, отец, галантный, пропустил меня. По тени я увидела, что горблюсь, и выпрямилась.

Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старички сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались. Как всегда, на повороте, тронув козырек, отец откланялся.

Четыре четырехэтажных дома показались, площадь с фонарями и громкоговорителями. Подоткнув шинели, бегали солдаты с ружьями, бросались на землю и вскакивали. Стоя на крыльце и переглядываясь, канцелярские девицы их рассматривали. Шляпы отражались в полированных столбах.

Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофете «сольферин» прошла товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики.

После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчат-

ках, чинная, отправилась.

– Мы выбираем дьякона, – остановилась она и взглянула на меня и на отца внушительно.

– Прекрасно, – похвалили мы.

Отец, прищурившись, шелестел газетой. Ветви перекрещивались за окном. В конюшне за забором переступала лошадь.

Постучались гости и, расстегивая выхухоль на шее, радостно смотрели на нас кверху, низенькие. Брошь-цветок и брошь-кинжал блестели. – Я иду сказать маман, – сбежала я.

Она, торжественная, как в фотографии, сидела в школе. Старушечки шептались. Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал.

– Я из пролетарского происхождения! – восклицал он.

Разноцветные, с готическими буквами, висели диаграммы: мостовых две тысячи квадратных метров, фонарей двенадцать, каланча одна.

– А вы учились в семинарии? – поднялась маман.

Я позвала ее.

Затягивались лужицы в следах. Выскакивали люди без пальто и шапок, закрывали ставни. Мальчуганы разговаривали, сидя на крыльце, и их коньки болтались и позвякивали.

Улица Москвы, по-старому – Московская, шумела. Рывкали автобусы. Извозчики откидывали фартуки. Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки и выпячивая бан-

тики. Я терлась между ними.

Ричард Толмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился от любви, и врач его осматривал.

– Милашка Ричард, – улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя.

Сверх программы – музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники. – Осел, осел, – кричали они, – где ты? – и отвечали: – Я в президиуме Второго Интернационала.

Наскакивая на прохожих, я гналась за ним. – Послушайте, – хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым воротником к в кепке с клапаном.

Отец остановил меня. Он тоже убежал от гостей. – Ричард мил? – спросил он, и по голосу я видела, как он приподнял брови: – И идеология приемлемая?

Узкая луна блестела за ветвями. На тенях светлелись дырки. Дикие собаки спали на снегу.

– Да, да, – кивала я, не слушая... Тот, в кепке, – в толкотне у двери он ощупывал меня.

Маман, с полузакрытыми глазами, с полотенцем на плече, перемывая чашки, улыбалась. Гости только что ушли – сапожной мазью еще пахло.

– Вот, – снисходительно сказала нам маман, – вы ничего не знаете. Поляки взяли Полоцк. Из Украины пришло письмо – она решила не давать нам мяса.

Как всегда, мы сели. Кошка, тряся стул, лизала у себя под хвостиком. Отец шуршал страницами. Маман, посмеиваясь,

пришивала кружево к штанам. Я перелистывала книгу. Анна Чилляг, волосастая, шагала и несла перед собой цветок. Поль Крюгер улыбался. Это – гости принесли.

2

На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас. – Подрались, – сказал он. – Луначарский двинул Рыкову.

Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробежали кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: «Митрополит Введенский едет. Есть ли бог?»

Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и небо между ним и древком синелось.

К надписи над театром проводили электричество. Монтер, приставив к глазам руку, шел по крыше и раскачивался, невысокий. «Это он», – подумала я. – Что там? – спрашивали у меня, остановясь. Меня толкнули. Лаком для ногтей запахло. Выгнув бок, кокетливая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной. Я сделала приятное лицо, и мы отправились. – Весна, – поговорили мы.

В двенадцать, когда, взглядывая в зеркальце, положенное в стол, она закусывала, я подъехала к ней. Колбаса лежала на газете. «И избил, – прочла я, – проходившую гражданку по

улице Москвы» – Я кашлянула скромно.

– Вы будете на вечере? – спросила я.

Все были приодеты. Благовония носились. К лампочкам были привязаны бумажки. Хвоя сыпалась. Подшефный середняк сидел с товарищ Шацкиной и кашлял.

Выступали физкультурники в лиловых безрукавках, подымали руки, волосы под мышками показывались. Хор пел.

Балалаечники, поводя глазами, забренчали. Мы покачивались на местах, приплясывая туловищами.

Товарищ Шацкина, довольная, оглядывала нас: – Хорошо, – зажмуривались мы и хлопали ладошками. Содружественная часть подтопывала.

– тихо,

– как когда я была маленькая, завертелся вальс, —

– кругом,

и ветер на сопках рыдает.

Я пойду на лекцию, – перестав смотреть на дверь, сказала Иванова, – нет ли там чего, – и вытащила пудру: озеро с кувшинками и лебедь.

Подмерзло. Две больших звезды, как пуговицы на спине пальто, блестели. Над театром, красные, окрашивая снег на площади и воздух, горели буквы. Люди в кепках проходили.

Я – приглядывалась к ним.

Сад цвел на сцене. Нимфа за кустом белелась, прикрывая грудь. Митрополит Введенский возражал безбожнику губернского значения Петрову. Мы рассматривали зрителей. Отец сидел, зевая. Он кивнул мне. – Гости, – объяснил он.

– Вот он, – засияла Иванова и толкнула меня: Жоржик с электрической увидел нас.

– Электрик, – рекомендовался он мне.

– Выйдемте, – сказала Иванова и в фойе, отсвечиваясь в мраморных стенах, под пальмой упрекала его. Он оправдывался, задирая брови. – Я хотел прийти, – в чем дело? – говорил он, – но, представьте, прачка подвела. – А ну вас, – отворачивалась Иванова томно.

Препираясь, мы спустились к улице Москвы. Бензином завоняло. Невский вспомнился – с автомобильными лучами и кружащимися в них снежинками.

От бакалейной, наступая на чужие пятки, мы шагали до аптеки и поворачивались. Милиционериха стояла скромно, в высоко надетом поясе. Встряхнулась лошадь, и бубенчик вздрогнул.

– Пушкин, где ты? – говорили впереди. Конфузаясь, Иванова прыскала. – Товарищи, – солидно сказал Жоржик. – Неудобно. – На плешь, – оглянулись на него.

Снимая шапку, он раскланивался. – Доброго здоровья, – восклицал он. Я – присматривалась.

У больших домов отец догнал меня. Он что-то говорил,

смеясь, и пожимал плечами. Я поддакивала и хихикала, не вслушиваясь. Было пусто в переулках. Вырезанные в ставнях звезды и сердца светились.

в магазине Кнопа, —

пели за углом.

Маман была оживлена. Сапожной мазью и помадой пахло. Библия лежала на столе.

– Все, все предсказано здесь, – радостно сказала нам маман и посмотрела значительно.

3

Маман прислушалась. – Идут, – вскочила она и концами пальцев обмахнула грудь – как стряхивают крошки.

Как всегда, мы вышли переждать под грушами. Кулич был виден. Цинерария стояла на окне.

– Христос, – задрезбуждали в доме. Запах церкви прилетел. Кругом звонили. Кошка, глядя вверх, следила за аэропланами. Затопотали по ступенькам. Духовенство, надевая шляпы и качая талиями, спускалось, и маман, величественная, с крыльца кивала ему.

Прибыли хозяева и поздравляли. – Милости прошу, – усаживала их маман. Все улыбались. – Я к больным, – сказал отец. Я тоже улизнула. Вилки и ножи стучали вслед.

Гуляли семьи. Маленькие дети спали на руках. Колокола звонили. «Праздники, – расклеены были афиши, – дни есенинщины».

Гости семенили, горбясь, – торопились к нам, в роскошных кофтах и в чалмах из шалей. Я свернула в садик, нелюбезная.

Шуршали листья – прошлогодние. Травинки пробивались.

– В Пензе, – разговаривали на скамье, – все женщины безнравственны.

Подкралась Иванова, ткнула меня пальцем и сказала: – Кх. – Она благоухала. Коленкоровые фиалки украшали ее.

– Я тянула счастье, – засмеялась она.

Хлопала калитка. Совработники в резиновых пальто входили. Щелкнув сумкой, мы смотрелись в зеркальце. Часы пробили. – Знаю, – встала Иванова, – где он.

Громкоговорители на площади хрипели. Кавалеры в новеньких костюмах, положив друг другу руки на плечи, толпились над лотками. Яйца стучались. В окне светился транспарант с цитатой, и веревка, унизанная красными бумажками, висела. Мы вошли. Засаленными книжками воняло. Подпершись, библиотекарша сидела за прилавком. Дама в профиль красовалась на ее воротнике.

– У вас щека запачкана, – сказала Иванова. – Это от пороха, – ответила она и посмотрела гордо. Общество друзей библиотеки заседало – Жоржик и стеклографистка Прохо-

рова. В голубом, она жевала что-то масляное, и ее лицо блестело.

Жоржик был рассеян. Вдохновенный, он ерошил волосы. «Проклятие тебе, – раскрашивал он надпись, – мистер Троцкий». Вежеталем «Виолетт де Парм»²⁴ пахло.

– Лозгуны? – приблизившись, спросила Иванова мрачно. Я посторонилась. «Виринея» и «Наталья Тарпова» лежали на рекомендательном столе. В газете я нашла товарищ Шацкину: она идет в рядах, – «Прочь пессимизм и неверие», – несет она плакатик, – «Пуанкаре, получи по харе», – реет над ней флаг.

Дождь хлынул. Отворилась дверь. Все посмотрели. – Гришка с огородов, – объявила Прохорова.

Невысокий, он стоял, отряхивая кепку с клапаном...

Из главной комнаты, присев на стул, на нас смотрела подавальщица. Мы чокались, стесняясь. На столах были расставлены бумажные цветы.

– За ваше, – подымал галантно Жоржик и опрокидывал. – Жаль, – горевал он, заедая, – что здесь не разрешают пить: как дивно было бы. – Да, – соглашались мы, а подавальщица вздыхала в другой комнате и говорила: – Запрещёно.

– Вы чуждая, – сказала Прохорова, – элементка, но вы мне нравитесь. – Я рада, – благодарила я. Тускнели понемногу лампы. Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось. Иванова встала и пожала Прохоровой руку. – Я иду, –

²⁴ Туалетная вода «Пармская фиалка» (фр.).

бежала я тогда.

Прильнув к окну, хозяева подслушивали. Цинерария бросала на них тень. За занавеской ложки звякали, маман солидно рассуждала, гости, умиленные, поддакивали ей.

Я уходила, спотыкаясь. – Набралась, – оглядывались на меня. Хихикнув, совторгслужащие говорили шепотом: – Кабуки. – Громкоговорители наигрывали.

В театре, как всегда, стреляли. Чистильщик сапог укладывал свой шкаф. Мороженщики, разъезжаясь, грохотали.

Шум стоял на улице Москвы. На паперти толпились кавалеры, покупая семечки.

В фойе чернелись пальмы. Рыбки разевали рты. Гремел оркестр. Зрители приваливались к дамам. Али-Вали отрезал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

– Не чудо, а наука, – пояснил он. – Чудес нет.

Мы переглядывались в изумлении. У дверей толкались.

Зашипев, взвилась ракета. Звезды над аптекой вздрагивали.

Я одна осталась. В темноте отзванивали. Щелкали по башмакам шнуры.

Украинская труппа топотала, вскрикивая: – Гоп. – Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях.

Сонные собаки подымали головы. В разливе отражались какие-то огни.

На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью

прохватывало.

4

Груши падали, стуча. Хозяева выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди.²⁵

Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром меняла имя. Буржуазная картина «Генерал» обругивалась: почему не северянина изображает Бестер Китон?

– С праздником, – пришла маман. Демонстративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчилицу.

Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.

– Рахилия,

– напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы. В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец, качались,

– вы мне даны.

²⁵ Право отнимать (лат.).

В саду Культуры клумбы отцвели. «Желающие граждане купить цветы, – не сняты были доски, – можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.

Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они наминали иностранцев из захватывающих драм. Гражданки, распаясь, вставали и подрагивали мякотями.

В цирке шелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.

Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали что-то, и ее лицо блестело.

Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.

Кружок военных знаний занимался за акациями. – Самый, – хмурил брови лектор, – смертоносный газ – забыл его название – начинается на хве. – Карандаши скрипели.

Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнгштурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый. – Теплый день, – поговорили мы и помолчали. Прохорова, вероломная, была видна ему. – А подмораживало уж, – сказала я. – Действительно, – ответил он, – температура превышала. – Осень, – попрощались мы.

На улице Москвы толпились – ожидалась похороны летчика. Зеленый шар мерцал в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.

Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на нас. Они ехали.

Обоз с картошкой прибыл. «Наш ответ китайским генералам», – пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.

Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин. – За Иордан? – осклабясь, как всегда, полебезил он. – Звери в балагане вскрикивали.

Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках. – «Мост опасен», – предостерегала надпись. Рыболовы, молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами наклонялись над водой. Ракиты осыпались.

Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы на электрических столбах.

Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли. Новые дома, белеясь на горе, блестя стеклами. На огородах кочаны круглелись, как зелененькие розы.

Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались в трусиках. Потом посбрасывали их и бежали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через голову.

Я поднялась, бледнея. Это он был – не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.

– Послушайте, – хотела крикнуть я.

– Сфотографировать? – спросил он расторопно, повер-

нулся, наклонился и дотронулся до сгиба. – Вот портрет, – сказал он, показав ладонь.

Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой.

Матерьял

Годулевич получила вызов на соревнованье и обдумала его. Два пункта приняла, два отклонила и в один внесла поправку.

По соревнованию она должна была вести работу среди масс на воздухе. Закрыв библиотеку, она каждый вечер с несколькими книжками переходила в сад и привлекательно раскладывала их на столике в конце аллеи. Под залог какого-нибудь документа можно было брать их и читать под фонарем.

Она сидела. Киноаппарат трещал. Оркестр играл от времени до времени. Мальчишки подбегали иногда и делали ей эротические знаки пальцами или смотрели на нее в картонные очки, похожие на маски, с красным и зеленым стеклышками, выдававшиеся к «Чудесам теней». Один раз мимо столика прошли два кавалера, разговаривая о крем-соде.

Когда било десять, Годулевич уходила. Краковяки и мазурки раздавались вслед. Светила иногда луна, а иногда висели тучи и мигали молнии вдали. Из окон венстационара, освещенные из комнаты, высывались люди в незастегнутых рубахах. – Дайте покурить, – просили они. Годулевич убегала в страхе. Башмаки стучали. – Всё работаете, – говорила ей хозяйка, отпирая, и она ложилась.

В выходные дни она ходила на картину, если была драма.

Когда шла комедия, она сидела во дворе на леднике. Она читала, а внизу расхаживали люди, петухи кричали. Приходили гости к инженеру Сидорову – инженер Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудняк из цеэрка. Малинников со скрипкой появлялся у окна, насупясь, и играл «Кол-Нидрэй».

Вечер наступал. Гремели иногда телеги. Музыка летела из садов. Дверь открывалась. Сидоровы, стоя на пороге, оба длинные, махали вслед своим гостям. Белеясь в темноте, они отмахивались.

Раз Смирнов вернулся. – Да, – сказал он, – вы слышали новые куплеты «Ленин любит деток»? – оглянулся и запел вполголоса. Приблизясь, Годулевич кашлянула. Стало тихо, дверь захлопнулась, и гости разошлись.

Дни были долги, а недели коротки. Прошли кампании о кооперации и антивоенная. – «Работая на воздухе, – писала Годулевич в заявлении о предоставлении ей места в доме отдыха, – я не ослабила работу и в зимнем помещении. В результате мои нервы несколько расстроились». – И правда, она стала раздражительной и чуть не поругалась с абоненткой Рекс, которая спросила песенник.

В газете появилось объявление о чистке в коммунальном. Годулевич села и взяла перо. Она решила выступить там с матерьялом о Смирнове. Чтобы не забыть чего-нибудь, она составила записку.

В синем платье с желтыми полосками она отправилась.

Венерики смотрели на нее из окон. На углах были расклеены портреты корифейки Степанянц и прима-балерины Праведниковой. Встречались абоненты и притрагивались к козырькам.

На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул на руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. – Ну его, – подумала она.

Она раскаивалась в этом малодушии, когда приехала из дома отдыха, потяжелевшая на восемь фунтов, черная и шумная. Но ничего уже нельзя было исправить. Инженер Смирнов в ее отсутствие выбыл вместе с Сидоровыми в Таджикистан, откуда инженер Хозяинов по телеграфу известил их о местечках с дефицитными предметами и ставкой тысяча семьсот.

Уже прислали циркуляр о зимней культработе, и заведующий клубом обещал дать Годулевич почитать его. Старушка Паскудняк, несмело улыбаясь, приходила на закате и сидела во дворе. – Когда они грузились, – просияв, смеялась она, – помните? – сбежались люди и смотрели. – Я была в отъезде, – говорила Годулевич и рассказывала ей о доме отдыха. Старушка Паскудняк заслушивалась, тихая. Малинников в подтяжках подходил.

Она рассказывала, сколько там давали масла и какой приятный собеседник был товарищ Шацкий из Клинцов. Она

рассказывала, как придумала заметку для живой газеты, и как с Эльгой Нохимовной Рог пошла смотреть деревню: хлеб уже был убран, и кругом просторно было; ящерица побежала из-под ног; покрытые соломой, показались избы – сани и ходы валялись возле них.

Чай

Произносили речи: и родитель Пехтерев, член горсовета (– Я скажу вам кратенько, – предупредил он), и заведующая, – поглядывая кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы, – и руководительницы, называемые тётями, и красноармеец Миша от содружественной части, – покраснев, – и Коля-пионер, – бая, – и Гаврик с детплощадки. Уговаривали выступить Агафьюшку, колхозницу. Она не соглашалась.

– Детки, – встала тогда докторша и кашлянула. – Мы передаем вас в школу. Но не надо беспокоиться. Там тоже будет врач, и он вам будет подавать медпомощь.

Поднялась кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала. – Детки, – жалостно сказала она, – вы довольны мной? – Довольны, – отвечали они. – Я вас обижала? – продолжала она спрашивать. – Ругала вас? Бесчестила вас? – Нет, – разжалобясь, пищали они хором, – нет! – Все были тронуты.

Торжественная часть закончилась. Президиум сошел с подмостков. – Миша, – закричали дети, обступив красноармейца, и повисли на нем. Коля-пионер нахмурился и, отойдя в сторонку, ревновал. Родители толпились возле стен, рассматривая развешенные на них детские работы и «строительные матерьялы» в ящике в углу. – Тётя, – подзывали они

иногда и спрашивали разъяснений.

– Детки, – появляясь в растворившихся дверях столовой, позвала заведующая. За нею самовар и кружки на столе видны были. – А для родителей, – блаженно улыбнулась она, – будет позже, когда отведут детей.

Все посмотрели друг на друга. Для родителей! Вот это был сюрприз. – А я, пожалуй, не смогу прийти второй раз, – заявила мама Гаврика. – Так как же быть? – спросила у нее заведующая в раздумье, просияла и, обняв ее за талью, посадила ее пить с детьми.

Счастливые, напившись, они спели. – Мы вернемся, – говорили, уходя, родители. – Прощайте, дети, – восклицали тёти.

Пионеру Коле и красноармейцу Мише дали по конфете и, пока идет уборка, попросили подождать в саду.

Закат был красный, и антенны над домами напоминали «колья для насаживания черепов» из книжки с путешествиями. Белый исправдом казался синим. Арестанты, привалясь к решеткам, длинно пели: – А!

Красноармеец Миша поднял яблоко и подал Коле. – Как, брат? – взяв его за плечи, спросил он, и Коля полюбил его. Они разговорились. Незаметно летело время. Из открытых окон радиодоклады раздавались. Расходясь со стадиона, распаленные футбольщики, невидимые за забором, переругивались.

Чай был параден. Чинно пили. – Пирог, – сияя, поясняя-

ли тёти, – испекли мы сами, а жамочки нам отпустили в цезерка. – Приятно было. Шайкина и Порохонникова перечислили предметы, выдаваемые из закрытого распределителя. Все оживились. Стало шумно. Дарьюшка, облокотясь, расспрашивала Мишу, что бывает у красноармейцев на обед. Агафьюшка развеселилась и рассказывала, как выходит на работу, а сама боится, чтобы не спалили двор.

Родитель Давидюк принес с собой гармонию. Поблескивая бляхами, она лежала. Перешли в большую комнату, и Давидюк уселся и закинул ногу на ногу. Вальс начался. Поправив галстук, Коля побежал к красноармейцу Мише, чтобы пригласить его. А Миша, обхватив техничку Настеньку, уже вертелся и нашептывал ей что-то. Дарьюшка смеялась и кивала на них. Тёти, уронив головки набок, скромно танцевали, взяв друг друга за руки.

– Поищем яблочка, – шепнула Порохонниковой Шайкина. Танцуя, они выскользнули. На крыльце был Коля. Не оглядываясь, он стоял лицом в потемки. Докторша сидела, съёжась. Подтолкнув друг друга, Порохонникова с Шайкиной остановились. Сорвалась звезда и покатилась, словно сбросилась на парашюте. Было тихо впереди, оттопывали сзади.

Пехтерев, член горсовета, появился на крыльце. Он почесал затылок. – Целое собрание, – сказал он. – А для воздуха, – хихикнув, пояснила Шайкина. Поговорили о водоразборных будках: горсовет постановил сломать их и поста-

вить автоматы с дыркой для грошей. Пенсне блеснуло. Докторша заволновалась на скамье. – В Америке, – засуетилась она, – всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад. – Скажите, – отвечали ей.

Никто не расходился. Все хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени лестниц поднимаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей.

Тимофеев

Провалившись на экзамене, Тимофеев не пошел обедать, а отправился домой и, сняв тужурку, улегся спать. Приземистый, с серым лицом и всклокоченной желтой бородашкой, он лежал на спине и храпел. Над его лбом, изогнувшись, как удочки, нависли несколько жиденьких прядей, в которые слиплись его водянистые волосы. Полинялая синяя сатиновая рубашка выбилась из-под пояса, и между нею и штанами виднелась закрашенная раздавленным клопом нижняя рубашка. Мухи садились ему на лицо, и он, мыча, сгонял их рукой, но не просыпался. Он проснулся только вечером, когда уже не было солнца и электричество горело в лампе, брошенной после ночной зубрежки с незавернутым краном. Он вскочил, и, спустив ноги с кровати, взял правой рукой край левого рукава и стал тереть глаза. — Надо велеть самовар, — сказал он себе и пошел искать хозяйку. Ее не было в доме, и он вышел взглянуть на дворе.

Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, висела над задворками. На красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно сор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо, и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной. Тимофеев сел ступенькой выше и молчал. Так они си-

дели, безмолвные и неподвижные, с глазами, устремленными на небо. Далеко-далеко просвистел паровоз. Хозяйка тихонько вздохнула и прошептала: – Фильянка. – Какая фильянка? – шепотом спросил Тимофеев. – Фильянская железная дорога. – И они опять замолчали и долго сидели, тихие и затаившиеся, пока не открылось окно и оттуда не крикнули: – Дарья Ивановна, где вы? Нельзя ли самовар? – И мне, пожалуйста, – сказал тогда Тимофеев, встал и пошел к себе.

Глотал он чай и жевал ситный задумчиво: что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее на завтра дождь, небо.

Кукуева

Только что катались в лодке. Было очень весело. Разбитная барынька Кукуева была в кисейной кофте, прямо на рубашку – все было видно!.. Костин ужасно важничал. Плеснулась рыба. Костин крикнул: – Щука. – Этой бы щукой тебя по морде, – сказал Жорж. Все очень смеялись. Костин разозлился. – Покажи мускулы, – пристал Жорж. – Убирайся к черту. – У него мускулы, как тряпки. Хотите посмотреть, какие у меня? – Покажите, покажите. – Девицы ахали. Кукуева потрогала. – Как ваше имя-отчество? – Для вас я – Жорж. – Он всегда так отвечал: для вас – я Жорж...

Поел, напудрился и был опять на берегу. Луна белелась неопределенным пятнышком. В воде была гора с садами и церквами, расплывчатая, словно вышитая шерстью по канве. Над входом в сад Маркса и Энгельса трепались флаги. Жорж взял билет.

Народу еще не набралось. Музыканты на эстраде охорашивались, покуривали и глазели. В лоске скамеек отражалась краснота заката. Шурочка сидела, глядя на входящих. Увидев Жоржа, уронила головку – представилась, что не заметила. Он подошел и сделал под козырек.

– Здравствуйте... А я сегодня отчистил Костина: катались в лодке, и, знаете...

Он сидел развалясь, торжествующий. Она, счастливая,

склонила легкую головку с светлыми кудряшками и тоненькими пальчиками разрывала васильки. На эстраде затрубили и застучали в барабан. Все встали и принялись ходить взад и вперед.

– Смотрите-ка, у этой расстегнулась юбка! А эта, кажется, со мной не прочь – видали, как подмигивает? – Шурочка смеялась и сжимала его руку.

Разбитная барынька Кукуева встретила на повороте и погрозила пальцем. Сразу стало скучно с Шурочкой. – Пойдемте, я вас провожу.

Из воды смотрело небо с облаками. Луна желтела и выравнивалась. От тумбочек упали маленькие тени. Дверь в церковь была открыта.

– Зайдем, – сказала Шурочка.

– Зачем?

– Зайдемте.

Сторожиха подметала пол. Господь висел на лакированном кресте. Иоанн и Мария стояли.

– Так бы и я стояла, – прошептала Шурочка.

– Около меня?

В саду Маркса и Энгельса гремели литавры... Золотились лунным светом облака. Березы в палисадниках качали ветками. Обогнала телега и без грохота катилась, блестя на луне железными шинами...

– Ну, до свиданья. – Он побежал, боясь, что не застанет Кукуеву в саду.

А Шурочка все улыбалась маленькими блаженными улыбочками и старалась спрятать в тень счастливое лицо. – Ворона, – закричала мать за ужином: – Испакостила чистую салфетку. Господи, в кого такая удалась?

Нинон

Матушка Олимпиада истово читала басом. Зеркала были завешаны. Вокруг Нинон были расставлены притащенные из ее комнаты растения: мирт, лавр, эвкалипт, кипарис... Вчере она была нехороша, а сегодня распухла, морщины растянулись, и все находили, что она стала очень интересной.

Мари сидела неподвижно в уголке дивана, маленькая, седенькая, с трясущимися розовыми щечками, держа у носика надушенный платок.

Стуча палкой, вошла Барб Собакина, костлявая, с седыми усами и бородой, и перекрестилась на иконы.

– Здравствуйте, матушка Марья Петровна, – сказала она неестественным, ханжеским голосом: – Какое горе!.. Узнаёте меня?

Мари сконфузилась, заморгала и пролепетала: – Как же, как же...

– Хорошие люди, видно, и там нужны, – пропела Барб, покрестилась около Нинон, прошептала на всю комнату: – Какая интересная! – и притворным голосом затараторила, идя к дивану:

– Кружевцо у ней на чепчике!.. Научите, матушка. Простите, понимаю, что теперь не время, но мы так... – Она нагнулась и заглянула Мари в глаза: – не часто видимся... Как это вяжут?

Мари, смущенная, смотрела. Барб стояла перед ней, навалившись на палку, и выжидательно глядела.

– Тогда не здесь, – пробормотала Мари. – Может быть, пройдете в мою комнату?

– Семь петель делается на воздух, – суетливо объясняла она на ходу, отодвигая драпировки и толкая двери. – На воздух... Столбиком... да, вот, здесь, в сундуке, образчик...

Синяя лампадка горела у икон. На столике под ними две маленькие розы без ножек плавали в блюдечке. Почти не слышно было через несколько стен, как матушка Олимпиада бубнит по-славянски над ухом Нинон. Старухи сидели на скамеечках перед раскрытыми сундуками, перебирали кусочки кружев, вышивки, рассматривали их на свет, прикидывали их на черное, на красное и бормотали: – С накидкой... шашечкой... французский шов... – Мари взглянула на гостью, порылась, достала темную полированную шкатулочку, сняла через голову маленький ключик на черном шнурке и открыла.

– Барб, – сказала она и подала ей маленькую коричневую фотографию.

– Мари...

– Барб... сорок лет...

– Мари, вы знаете...

– Барб, это она... Утром, не успеешь причесаться, уже шипит: – Берегись ее, Мари! У нее на уме какие-то пакости. Она тебе натянет нос... – Трубила, трубила... а я...

– Я так и знала, – сказала Барб и засмеялась. – Как услышала сегодня, сейчас же взяла палку и явилась.

Мари захихикала. – Лежит кверху носом! Раздулась, как утопленник, а все – такая интересная, такая интересная!.. – И ты, Барб, тоже.

– Мари... глупенькая...

Они тихонько смеялись беззубыми ртами, и своими страшными коричнево-лиловыми руками Барб нежно гладила страшные ручки Мари и мутными белесыми глазами глядела в ее мутные белесые глаза.

– Ты все такая же хорошенькая, Барб...

– И ты, Мари...

– У тебя и тогда были маленькие усики и на щеках – пушочек... А помнишь, нас вели прикладываться, ты поправляла сзади пуговку, и я взяла тебя за пальцы...

– Да... Ах, Мари...

– Барб, помнишь...

Темнело. Горела лампадка. Розы в блюдечке пахли сильнее. Перед раскрытым сундуком валялось на полу белье. Старухи, улыбающиеся, умиленные, сидели на кровати. Ма-тушка Олимпиада отворила дверь и позвала на панихиду.

– Сейчас, – сказала ей Мари. – Идите... Варенька, пойдем, бог с ними...

– Да, пойдем, бог с ними, – ответила Барб с счастливой улыбкой и подняла свою палку.

Они, обнявшись, медленно пошли по коридору. – Варень-

ка, – мечтательно произнесла Мари, – а сколько счастья было бы у нас с тобой за сорок лет... Зажми нос, Варенька, – прибавила она злорадно, открывая дверь в гостиную.

Нинон лежала между тремя церковными подсвечниками, окруженная собственноручно возвращенными в кадках эвкалиптами и лаврами и еще больше распухшая.

Гости, делая постные лица, говорили о ее твердом характере и о том, что она стала еще интересней: еще пополнила, помолодела и стала еще интересней. Мари с достоинством кивала головой, и ей хотелось подмигнуть, хихикнуть, высунуть язык. Она тихонько тронула Барб за руку, и Барб, счастливая, удерживая смех, пожала ее пальцы.

Евдокия

1

Анна Ивановна, в красном капоте, сидела над обрывом в тени сосны. Собачонка Эльза, пощипывая травку, бродила около.

В беловатом небе плыли ряды круглых, как капуста, облачков. За Двиной, против Анны Ивановны, была улица с одним рядом построек. Дачники покачивались в гамаках перед крылечками, завешанными парусиной с красными краями. Под откосами купались мальчишки. Корова стояла в воде передними ногами. Вправо начинался второй ряд домов, против него – задняя стена графинина парка, дальше – сквер и речка Елдыжка. За речкой стоял на горе большой белый костел, подымались на гору улицы, крестик маленькой церкви блестел в зелени. Позади местечка была еще гора, голая, поросшая одною травой, и на ней – расписная часовня.

– Здравствуйте, Анна Ивановна... Извините, я без корсета.

Фрау Анна Рабе стояла, в соломенной шляпе с цветами и белой кофте с синими букетиками, и, прижимая подбородок к воротнику, украшенному костяной ромашкой, приятно улыбалась. Она протягивала Анне Ивановне одну руку, а

в другой что-то держала за спиной.

– Посидите, дорогая фрау Анна. Какие там корсеты – я в капоте... Откуда?

– Ходила к леснику за яйками. У меня одна кура хочет сидеть: взяла у лесничихи яйца – у ней есть хорошенькие курочки, – сказала фрау Анна, усаживаясь и ставя рядом с собой маленькую корзиночку. – Достала двадцать штук: ну, что вы скажете?

– Да, это действительно... Ну, а еще что вы сегодня делали?

– Когда пошла за яйками, видела Катерину Александровну с двумя служанками.

Анна Ивановна кивнула головой: – К обедне.

– Мадам Пффердхен на балконе пила кофе. Анна Ивановна засмеялась. Фрау Анна потупилась.

– Говорят, она его хлещет прутьями.

Фрау Анна молчала и рассматривала заткнутые у нее за поясом маргаритки. Анна Ивановна побарабанила коротенькими пальцами по черной ленте на капоте.

– А где же ваша Цодельхен?

– Вот она, гуляет с Эльзом, – смотрите, какие это есть веселы две собачки.

Тень передвинулась, и солнце забралось к Анне Ивановне на ногу. Развеваясь, шевелились под затылком не поместившиеся в прическу волосы.

– Кто это идет купаться? Кажется, Гаврилова?

Поговорили о фокусах Гавриловой – о том, как она бросилась в колодец. – И у нас мужья умерли, – сказала Анна Ивановна, – но мы – ничего.

– Только плакали.

– Ну, это – конечно.

Помолчали. Медленно плыли плоты и скрипели весла. – Кажется, мадам акцизничиха с мужем на огороде, – сказала фрау Анна, поднося к глазам ладонь. Анна Ивановна повела бинокль. – Она и есть. Мечется, как кошка, а он – босиком и в рубахе по щиколотку... Не едят мяса и ни с кем не знают, и воображают, что умнее всех. – Она хотела хорошенько посмеяться над акцизным и акцизничихой, но под откос начал спускаться мужчина в парусиновых штанах. – Идет учитель! Раздевается! Всегда удивляюсь, как его до сих пор не засадили: это ведь шпион. Когда была японская война, он здесь шпионил... Посмотрим, нет ли на нем следов от прутьев. Нет, что-то незаметно. Хотите посмотреть? – Она протягивала бинокль. Фрау Анна покраснела и качала головой.

2

Белобрысая двенадцатилетняя Иеретида в синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном животе костлявые руки, шла Катерина Александровна, в черном платье с белыми полоска-

ми и шляпе с креповым хвостом. Сзади, неся под мышкой коробку с веером и зонтик, шла Дашенька – сорокалетняя, черная, грудастая и чванная. Идя по середине улицы, они спускались к берегу. Пахло цветущей липой. Лавочницы, сидя на табуретках, дремали у дверей.

Вывески с подписью «Художник Цыперович» были украшены изображением дамы с распущенными желтыми кудрями. Она гуляла в красной шубе среди снегов: – Прием заказов, – сидела за столом, и перед ней лежали хлебы и стояли чаши, как на тайной вечере: – Дешевые еврейские обеды, по пятницам бывают пироги.

Около Пфёрдхеншиной аптеки свернули вправо и по мосту с дощечкой «мост опасен» вышли в зеленую улицу с серыми тропинками.

– Какая яркая трава, – сказала Катерина Александровна, – как будто маленькие дети раскрасили травку в тетради для раскрашивания.

Иеретида загляделась на девчонку, которая бежала против ветра, держа над головой распяленную наволоку. Катерина Александровна внимательно смотрела на занимавшую длинный квартал булыжниковую стену графинина парка. Дашенька читала имена домовладельцев и разглядывала прибитые к воротам досочки, работы Цыперовича, с изображением пожарных принадлежностей.

– Тюленьи кожи идут на ранцы! – У учителя были открыты окна, он диктовал, расхаживая по комнате, без пиджака, с

сладким лицом и с сладким голосом. Катерина Александровна отвернулась и старалась не думать о Пффердхенше, хлестанье прутьями и шпионстве: она считала себя женщиной возвышенного направления, которая не может интересоваться сплетнями.

Кончились дома полевую руку, Двина, незаслоненная, заблестела. Дачники покачивались в гамаках. Катерина Александровна окликнула Иеретииду, взяла у Дашеньки веер, чтобы отгонять комаров, и, повернувшись спиной к реке, они свернули вправо и по лесной дорожке пошли на кладбище.

Около могил развели два маленьких костра от комаров. Катерина Александровна села на скамейку, посидела, посмотрела на памятник с портретом старичка в медалях и эполетах, встала, покрестилась, костры засыпали.

Возвращались по другой дороге. За полем, в загородке из шиповника, стояло облезлое распятие и начиналась графинина булыжниковая стена. Проходя мимо растворенных ворот, Катерина Александровна повернула голову и смотрела на двор с круглой клумбой и белый фасад с закрытыми окнами: никого не увидела.

У калитки сквера она отпустила Дашеньку и Иеретииду и пошла под цветущими липами. Все дорожки приводили на площадку с фонтанчиком и четырьмя скамейками. Сбоку, в полосатой будке – белой с красным – сидела желтоволосая, с пористым носом и щеками, Роза Кляцкина; вокруг нее бы-

ли расставлены бутылки с квасом. Цыперович, скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая позы, заглядывал в Розины глаза.

Фрау Анна Рабе, в кисейном платье на синем чехле, с белым зонтиком и маленьким букетиком, вышла на площадку из другой аллейки. Катерина Александровна, обмахиваясь веером и расправляя креп, уселась с ней на ту скамейку, с которой не видно было Розы и Цыперовича. Цодельхен свернулась у кисейного подола. От лип сладко пахло. Темная зелень, закрывавшая солнце, казалась прозрачной.

– Посмотрите, дорогая Анна Францевна, – сказала Катерина Александровна. – Мы сидим как будто в зеленом флакончике, и сквозь него проникает свет.

Фрау Анна подумала, приятно улыбнулась и закивала головой. – Ах, это есть очень красиво.

Они помолчали, откинувшись на спинку скамейки. Катерина Александровна думала об одной даме, которая на ее фразу поднесла бы элегантный и изысканный ответ...

Ксендз Балиоль, с прыщеватым лицом, пробежал, согнувшись и бросая исподлобья шмыгающие взгляды. – Наверное, из палаццо,²⁶ – сказала фрау Анна. Катерина Александровна моргнула. – Да, ведь графиня Анна, кажется, приехала?

– Приехала. Это есть очень неудобно: я покупала у ейного садовника салат, а теперь он не продает.

– Скажите, дорогая Анна Францевна, вы с ней знакомы?

²⁶ Дворец, особняк (ит.).

– Когда мой Карльхен был жив, он в палаццо лечил – тогда я тоже была с ними знакома. Но когда они мне фанатисмус показали, тогда я с ними больше не знакома.

– Что, вы говорите, они вам показали?

– Фанатисмус. – Она стала рассказывать, как Карльхен умирал и граф Бонавентура пришел с ксендзом: пусть Карльхен возьмет католицизм. – Нет, нет! – Он говорил, что хочет перед смертью католицизм принимать. Теперь он болен есть и не имеет память. Мы должны евонных первых слов выполнять. – Ксендз открыл сумку, фрау Анна распахнула форточку и закричала. – Это был целый шкандал, и мы с графинем Анном не есть теперь очень приятные.

Катерина Александровна встала, попрощалась и с этого дня начала избегать фрау Анны.

3

Канарейка трещала в клетке, собачонка Эльза грелась на подушке у горячей печки, на полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Анна Ивановна, в красном капоте, жмурясь от солнца, поливала из чайника фикусы. Катерина Александровна прошла мимо окон и позвонила, топая на крыльце ногами, чтобы отряхнуть снег. Анна Ивановна поставила чайник и побежала открыть. У нее была новость, и она торопилась ее рассказать.

Но Катерина Александровна думала о чем-то постороннем и, когда Анна Ивановна, сообщив ей об акцизничихином побеге, рассмеялась и, дернув головой, спросила: – Каковы вегетарьянцы? – она вздохнула совершенно равнодушно и сказала только: – Да, вот к чему ведут эти легкие идеи... Горячо любимая Анна Ивановна, – заговорила она сейчас же о другом, наморщив брови и глядя на стенной ковер с испанкой и двумя играющими на гитарах испанцами: – Мне вот что пришло в голову: о нашей речке. Вы живете здесь дольше, чем я, – скажите, ведь ее название (бессмысленное) – оно испорченное, а происходит от имени святой мученицы Евдокии?

Анна Ивановна пожала плечами, повела бровью и pokrutila волосы на бородавке.

– Я восстановлю правильное название, – сказала Катерина Александровна.

Она пошла по узкой улице, поглядывая на маленькие окна с расставленными между рам игрушками – картонными лошадками и глиняными львами, – и, улыбаясь, думала, как одна дама ей скажет: – Я слышала о вашей деятельности – ведь это вы исправили название речки? Удивляюсь, что мы так долго не были знакомы...

Она, не откладывая, зашла к Цыперовичу и заказала десять досок с надписью «река святой Евдокии». На следующий день, после обеда, два мальчишки разгребали на речке снег, Иеретида тащила вывески, Катерина Александров-

на несла в мерзнущих руках жестянку от цикория, в которой были гвозди, и молоток, а Дашенька везла на санках небольшую лестницу. Приколотив последнюю доску, Катерина Александровна подула на руки, – улыбаясь, втянула морозного воздуха и, осмотревшись, сказала: – Видите, Дашенька и Иеретида, эти тоненькие веточки на светлом небе – они как будто вытравлены на серебре тоненькой иглолкой. – Что и говорить, – ответила Дашенька.

Расставшись с ними у мостика, Катерина Александровна зашла к становому. – Поговорим в канцелярии, – сказала она. – Это о деле.

Он зажег лампу на столе с юбилейной клеенкой – в честь трехсотлетия Романовых, и Катерина Александровна, положив перчатки на изображение императрицы Анны, рассказала о своем мероприятии. Становой подумал и сказал, что следовало обратиться предварительно, а теперь, раз дело сделано, – пускай висят. – Покончив с этим, перешли в столовую, где у становихи был заварен чай. Поговорили об акцизничихе – о том, к чему ведут легкие идеи, – и замолчали, задумались, смотря на блюдечки с вареньем. Становой ударил себя по голове. – Да, вот еще новость! Будет лотерея: присылали из палатки, чтобы разрешить афишу. С душеполезной целью будут разыграны разные предметы...

– Вот когда! – Катерина Александровна пошла, торжественная и ликующая. Луна, наполовину светлая, наполовину черная, была похожа на пароходное окно, полузадерну-

тое черной занавеской. – Анна, – радостно сказала Катерина Александровна, – та завеса, которую ты от меня закрыта, тоже наполовину уже раздвинулась....

Дома она нашла письмо. Акцизный очень напыщенно писал ей, что так как ее положение в обществе высокое, то она может знать больше других – может быть, знает, где его жена. И дальше – что неправда, будто эта девушка корчмаршина работница: она не работница, а родственница. К письму была приложена открытка для акцизничихи. На ней был нарисован петух и написано: – Вернись, Асюта, к своему петушку. Выслушала бы хоть объяснения.

– Вот дурак, – сказала Катерина Александровна. – Это я ей непременно расскажу... после лотереи.

4

Дул теплый, мокрый ветер, небо было серое, дорога почернела, потемнели серые заборы и дома. Катерина Александровна шла от обедни. – Этот ветер, – говорила она, – дует с моря. Час назад он надувал какие-нибудь паруса... Помните, как сказано в Деяниях: – Ветер бурный, называемый эвроклидон...

Перед костелом стояли графские сани. – Дашенька, Иеретида, идите – я вернусь. Не зашла к Анне Францевне. – Она вернулась, дошла до угла, повернула обратно, несколько раз прошла мимо саней (на лотерею ничего не вышло: графиня

Анна появилась на минутку, с ксендзом и двумя старушонками, на каких-то подмостках в конце зала и посмотрела в лорнет – и больше не показывалась; не пришлось даже как следует ее разглядеть – свет был скаредный, и на подмостках было темно). Креп, пришитый к шляпе, взвивался и вытягивался, накручивался на шею, бил по лицу. Нос покраснел, текли слезы. Подползли нищие и, голося, протягивали руки...

Рослая старуха, в красной шубе, с четками на шее, курногая, вышла из костела. Ксендз Балуль попрощался с ней и низко кланялся. Нищие бросились. Катерина Александровна побледнела, у нее застучало в висках. Ксендз вернулся в костел, и графиня, раздавая нищим копейки, пошла к воротам. Катерина Александровна лизнула губы и рванулась: – Графиня, вас ли я... вот случай!..

– Прощем дать дорога, – сказала графиня, отодвинула ее локтем и села в сани...

– У вас неважный вид, – поцеловавшись, закачала головой Анна Ивановна. – Здоровы?

– Ничего... Да, нездоровится. Уеду в Тульскую губернию: эти оттепели...

– Фу ты, господи! Выпить горячего, поясницу обернуть фланелью: Катерина Александровна, пройдет! Я провожу вас до дому... Вы слышали, что графиня Анна сделала на деньги, которые выручила от лотереи? – Она со смехом рассказала, как графиня накупила какой-то дребедени – черт

знает чего: какие-то павлиньи перья – знаете, как у извозчиков на шапках, – бумажные розы – и пожертвовала в костел для украшения.

– Как, на наши деньги?

– Ну, да... Умора! Становиха с попадъей ходили посмотреть: везде бумажные букеты, перья, кружева какие-то бумажные – вкус, знаете!

– Это правда. Я сейчас ее видела, в красной шубе, точно цыперовичевская вывеска.

– А, встретила – она тут проехала: фу-ты, ну-ты, разъезжает, будто в покоренном городе.

На следующее утро Катерина Александровна вышла по большой дороге за местечко. Иеретииде приказала идти следом, вместе с Дашенькой, чтобы не толклась перед глазами и не мешала думать. Она обдумывала большой план, была во вдохновении, лицо горело, и в животе сжималось: груда камней, мусор и сорная трава – вот что скоро будет на месте палаццо!

Утренняя луна таяла. – Наклоненная, – вздохнула Катерина Александровна, – словно унылое лицо... Какая бледная и кособокая: как облетевший одуванчик... Так и вы облетаете, мечты.

С прогулки она зашла к Анне Ивановне, которая еще лежала на кровати, и имела с ней секретный разговор, а днем, парадная, ходила по местечку, делая визиты. У фрау Анны пила кофе с пфеферкухеном, у становихи пробовала пирог,

у попадьи не смогла есть и выпила воды с вареньем и полрюмочки церковного. Говорила о графине Анне: – как нагло она выманила у нее деньги для костела. Что же будет дальше? Ведет себя как будто в покоренном городе. Все русские должны объединиться и дать отпор иезуитским хитростям... Мы скоро увидимся – у Анны Ивановны на именинах... Вы слышали: акцизничиха вернулась. У Анны Ивановны будет одна дама, которая расскажет об этом все подробности.

5

Гости, с красными лицами, хлопали глазами. Гаврилова, пьяная от еды и от наливки, рассказывала, как к ней пришла акцизничиха. – Уже укладывалась спать, вдруг – стук. Является. В руках узел. – Пустите пожить. У вас не същут. Сестра пришлет денег, тогда уеду в Вологду. – «Вы меня не прогоните, вы сами несчастливы». – Смеет сравнивать! Мое несчастье от Бога, у меня человек умер... Пока стояла, вокруг ножищ натаяла лужа: я, знаете, люблю чистоту... Дальше – хуже. Тут начнет донимать «Кругом Чтения»: – Вы когда родились? – Первого апреля. – Посмотрим, что в «Круге Чтения» говорится на первое апреля... – Я хотела написать акцизному анонимное письмо – указать, где скрывается супруга, да такой уж медленный характер: пока все собиралась да собиралась, у нее денежки вышли, а от сестры, конечно, шиш, никакого ответа. Она и вернулась. До того извела – я

похудела!

Катерина Александровна, торжественная, в черном шелку, отодвинула изюм, поднялась, отерла рот и прочувственным голосом сказала: – Бедная вы моя Прасковья Александровна! Сколько вытерпели вы от этой негодницы. Они и меня не оставили в покое: ее муж посылал мне письма... Горячо любимая моя, я полюбила вас... А ведь вы – сестра моя: я тоже Александровна. – Ее губы дрогнули: она подумала: – И я такая же одинокая, как вы... – Она разжалобилась, ей хотелось заплакать о фразах, сочиненных для графини и сказанных Дашеньке...

Анна Ивановна обняла Гаврилову и громко целовала. Фрау Анна Рабе, приятно улыбаясь и прижимая подбородок к синему воротнику, поднесла Гавриловой букетик резеды. Попадья и становиха чокнулись с Гавриловой и закричали «ура». Она, вспотевшая, клала руку на сердце и раскланивалась.

– Я с отрадой вижу, – сказала Катерина Александровна, – как единодушно мы сейчас настроены. Хотелось бы, чтобы в таком единодушии мы навсегда и остались. Теперь такое время, что все русские должны объединиться и дать отпор иезуитским хитростям... Дорогая Анна Францевна, и вы с нами – она и вам показала свои когти.

– Она показала мне фанатизмус.

Катерина Александровна с одушевлением говорила об этой изуверке – как на русские деньги она украшает костелы,

как не дает покоя умирающим и держит себя, словно в покоренном городе... Гости слушали, повесив головы, и сквозь кофейный пар исподлобья глядели на нее мутными глазами. – Что ж, Анна Ивановна, зелененький столик расставим или расходиться будем? – спросила почтмейстерша. Катерина Александровна встала и, величественная, сняла со спинки стула свою шаль: – Да, пора, я вижу. Прасковья Александровна, пойдёмте. Вы посидите у меня, поговорим...

Темнело. Пахло снегом. Было тихо. В конце улицы, где синяя туча обрывалась, на небе светлелась желтая полоска. Катерина Александровна шла молча. Гаврилова была оживлена, покачивалась, призналась, что влюблена в учителя. Она отбила бы его у Пфердхенши, да, вот не знает, как привлечь его внимание. Если бы блеснуть туалетами, – но пенсия небольшая, хватает только на прожитье.

– Горячо любимая Прасковья Александровна, мне, кажется, удастся вам помочь. Мы, может быть, объединимся, может быть, откроем русское училище... прогимназию... Я думаю, вас можно устроить в инспектрисы, будет жалованье, блеснете туалетами, и тут Пфердхенша останется ни с чем.

– Подождет хвост, колбасница. Узнает, как хлестать прутьями. Ах, шельма!

Катерина Александровна отвернулась и прищурилась.

В палисаднике у фрау Анны Рабе зацвели маргаритки. Анна Ивановна вытащила на веранду свои фикусы и клетку с канарейкой. Из Петербурга приехала Марья Карловна с семьей: три маленькие девочки с косичками и нянька. Катерина Александровна поместила их в доме и перешла с Дашенькой и Иеретиидой во флигель.

Когда Марья Карловна выпалась после дороги, Катерина Александровна повела ее пройтись. Она рассказывала о лотерее и объединении русских. – Тетечка, – сказала Марья Карловна, – мне кажется, объединение потому не удалось, что вы собирали их не у себя. Если бы они были у вас в доме, понимаете...

– Мари, я боялась: надоедят, а уйти некуда; а тут я – гостья: попрощалась и пошла.

– И потом – жаль, что говорили об акцизничихе: весело настроились, и серьезное не шло в голову.

– Ах, Мари, ты их не знаешь – они не могут без этого... я обдумала...

– Мы их еще объединим.

Катерина Александровна молчала. Светлели голубые и зеленые промежутки между облаками. Из палисадников пахло жасмином. Купальщики возвращались – с побледневшими лицами и мокрыми волосами. Над Пффердхеншиной крышей

виднелась маленькая белая звезда.

На следующий день, под вечер, вымыв чайную посуду, Марья Карловна оглядела свою вертлявую фигурку, провела ладонями по кофте и белой полотняной юбке и накинула на голову шарф. – Иду...

Русские были объединены. Сидели на белых диванах с зеленой обивкой в гостиной у Катерины Александровны, степенно говорили об иезуитских хитростях, потом катались в лодках или усаживались на доставленные станovým подводы и отправлялись в лес; когда проезжали мимо палаццо, Марья Карловна махала флагом и кричала со своими маленькими девочками: – Да здравствует Россия! – Каково ей это слышать, – ликовали дамы. В Троицын день все приняли участие в крестном ходе и несли кресты, хоругви и иконы. Вечером часто заходили в сквер, где играли четыре тщедушных музыканта с длинными носами, подымали шум и кричали: – Гимн! – Все вставали, снимали шапки... Роза Кляцкина вставала в своей будке. На минуту под липами становилось тихо, потрескивали в тишине фонарики... Звучала торжественная музыка, кричали «ура» и требовали повторить.

Катерина Александровна мало участвовала в этих развлечениях: она обдумывала завещание. Каждый день она после обеда взбиралась на гору, поросшую твердой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней: Ирод закусывал с гостями... перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса, на-

рисованная Цыперовичем над трактирной дверью. Катерина Александровна бродила между кострами и смотрела на дорогу: не появится ли из палаццо маленькое шествие, не идет ли графиня Анна с ксендзом Балюлем и двумя старухами в красных пелеринах (наконец-то удалось бы ее рассмотреть – должно быть, хороша: как она величественно стояла на крыльце костела, в красной шубе)... Оставив старух внизу, где Дашенька и Иеретида напевают и ищут одна у другой в голове, графиня, опираясь на ксендза, взобралась бы, дала бы ему знак остановиться, а сама бы подошла и опустила голову. Катерина Александровна сказала бы: – Здравствуйте, графиня...

7

Прикладывались. Духовное лицо держало крест и восклицало: – Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. – Дашенька и Иеретида запирали в шкаф возле свечного ящика ковер и зеленую сафьяновую подушку для коленопреклонений. Катерина Александровна, с просфорой в узелке, ждала их в притворе. К ней подошел зеленоватый старичок в коричневом пальто и представился: Горохов, директор гимназии, председатель городского братства святого Александра Невского. Братство кланяется Катерине Александровне и желает ей победы в борьбе с иезуитскими происками.

После обеда сидели в сквере. Катерина Александровна,

без шляпы, в широком белом платье с черными полосками, обмахивалась веером. Горохов рассказывал о братстве, как оно ходило с крестным ходом в день перенесения преподобной Ефросинии, и как дало концерт для усиления своих средств и вызолотило большое соборное паникадило... Он уговаривал открыть братство в местечке. – Вы могли бы заказать хоругвь, она хранилась бы в вашем доме, а в процессиях развевалась бы над головами – какая красота!

Цыперович стоял перед будкой... Ксендз Балюль пробежал, согнувшись. Катерина Александровна не видела, как Горохов выразительно указывал на него глазами. Не поворачивая головы, она сказала: – Посмотрите, как эту зелень пронизывает солнце: как будто мы на него смотрим из зеленого флакона...

Шли по дорожке между речкой и огородами. Горохов нес в руке свою шляпу, Катерина Александровна придерживала костлявыми пальцами шлейф. Низкое солнце освещало желтые лица и седеющие головы. – Вот и дощечка, – радостно сказал Горохов: – река святой Евдокии. – Катерина Александровна смотрела в сторону.

Изгороди кончились. Запахло клевером. – Взгляните на гвоздички, – показала Катерина Александровна. – Они напоминают мне причастие. Как будто капельки святых даров... Напрасно предложенных и оттолкнутых.

Когда возвращались, голубоватое небо стало сиренево-розовым. Они обернулись и посмотрели на двойной красный

овал лежащего на поверхности речки солнца: – Катерина Александровна, зрелище этих двух солнц не говорит ли вам о двух братствах: святого Александра и святой Евдокии?.. – Но Катерина Александровна думала не о двух братствах, а о двух дамах: величественные, в светлых платьях, розоватых от вечерних лучей, они смотрят с горы и, растроганные, обмениваются отборными фразами...

8

Александро-Невское братство прислало приглашение на открытие памятника, построенного по рисунку штабс-капитана Кацмана в воспоминание о посещении города великим князем. Дамы, разодетые, отправились с Марьей Карловной. На вокзале их встретил Горохов. – Катерины Александровны нет? Ах, боже мой: владыка хотел поговорить с ней о братстве... Подумайте, какая красота: имели бы свою хоругвь, и она бы развевалась над головами!

Он разместил их у решетки, за которой стояло что-то тощее, закрытое холстиной. – Я боюсь, – кокетничала одна дачница, – вдруг там скелет! – По краям четырехугольной площади были расставлены солдаты. Золотой шарик на зеленом куполе слепил глаза и разбрасывал игольчатые лучики... На колокольне затрезвонили. Из дверей, нагнувшись, вылезли хоругви и выпрямились. Сияли иконы, костюмы духовных лиц и эполеты. Епископ в голубом бархатном туалете с се-

ребрыными галунами остановился у решетки.

Сдернули холстину, и памятник открылся и заблестел: на цементном кубике стояла, дулом вверх, пушка, и на ней – золоченый орел в короне. – Как мило, – щебетали дамы, отклоняясь от брызг святой воды, и оттопыривали локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока. – Говорят, штабс-капитан Кацман припечатал на своих визитных карточках – «скульптор».

Пока происходил парад и офицеры, махая саблями, кричали и ходили задом наперед, епископ пожелал дать Марье Карловне аудиенцию. Он говорил о Екатерине Александровне, жалел, что ее нет, и надеялся ее скоро увидеть, а покамест посылал ей благословение и складень с иконами святой Екатерины и святой Евдокии.

После парада было угощение в палатке. Говорили о войне, которая начнется завтра или послезавтра, в крайнем случае – на той неделе. Взволнованные, возвращались дамы в местечко: соображали, куда бежать. – Хорошо вам, фрау Анна, вы можете им сказать, что родились в каком-нибудь ихнем Ганновере, и конец.

– Это надо врать? – сказала фрау Анна. – Никогда не врал.

– Господи, а я куда деваюсь, – думала Гаврилова. – А как же прогимназия, раз все уедут?.. – К концу дороги она придумала, если начнется война, пойти к учителю и попросить, чтобы принял вместе шпионить.

– Я и то собиралась с вами в Петербург, – сказала Катерина Александровна, выслушав от Марии Карловны доклад, – здесь опротивело: понимаешь, Мари, не с кем слова сказать. Надо будет съездить в город, чтобы перевели пенсию на петербургское казначейство.

Война не начиналась. Приехал муж Марьи Карловны. Ходил на речку загорать; возвращаясь, выпивал у Розы Кляцкиной бутылку квасу; после обеда спал, а вечером участвовал в увеселениях. Под Иванов день Анна Ивановна дала у себя в саду праздник. На яблонях висели бумажные фонарики. Были наняты музыканты из сквера и телеграфист по станции, который умел устраивать фейерверк. Перед садом прогуливалось все местечко. В полночь телеграфист зажег бенгальские огни, все осветилось, и мальчишки громко читали написанные на противоположном заборе слова.

9

Анна Ивановна и Марья Карловна сидели в цветнике у фрау Анны Рабе. – Целый вечер я на фисгармонии канты играла, – рассказывала фрау Анна. – Тогда совсем темно стало, и я фисгармонию закрыла и пошла немного на крыльцо стоять. На небе было много звездочки, я голову подняла и смотрела. Это есть так интересно – там я видела один кашне и разную кухонную посуду: много разные кастрюльки, горшки... Тогда я замечала там один цветок – как раз как моя

брошка, эта маленькая ромашечка, которую мне Карльхен привез из Риги... И я была счастливая и думала, что это есть душа от моей брошки, стояла и смеялась. Приходит Лижбетка: – Барыня, вы видели Цодельхен? – Нет... – И вот сегодня ей нашли за огородом в крапиве.

– Да, – сказала Анна Ивановна, смотря на затянутый фасолью забор. – Сегодня Цодельхен, завтра – Эльза, а там... – Она замолчала и подняла глаза на серенькое небо. Марья Карловна вздохнула и закивала головой.

– Это была любимая собачка моего Карльхен. После обеда он идет немного посмотреть свои больные, наденет свою шляпочку – он имел такую маленькую шляпочку с зеленым перышком – и кричит на Цодельхен: – Цодель! – И тогда Цодельхен бежит с им вместе. Я полью грядки и присматриваю себе на кухне. Тогда вдруг гавкает этот собачка. Я скорее передник долой и бегу встречать. Цодель прыгает на мене с лапам, Карльхен есть на углу, он машет своим шляпочком и крутит над головой кошелек: это есть, что он имеет много денег...

Она низко наклонила голову.

Гости, опустив глаза, молчали. Пахло цветами. Чай остывал в трех чашках... Застучали дрожки, остановились, все подняли головы, хлопнула калитка, и по обсаженной сиренью дорожке прибежал муж Марьи Карловны.

– Катерины Александровны здесь нет? Война объявлена. Становой присылал сказать: приехали со станции, и вот...

Дамы встали. – Катерина Александровна на горе, – сказала Марья Карловна: – Обдумывает завещание... Беги...

– Как тиха сегодня твоя земля, Господи. Проехали со станции, прогремели, и опять тихо. Вон какие-то верзилы купаются, – и не горланят... Дорога к палаццо лежит под деревьями, как мертвая... – Катерина Александровна задумалась. Ей вспомнился такой же серенький вечер: читать стало темно, она открыла дверь на балкон и посмотрела на улицу. Из палисадника пахло теплой сыростью, прелыми листьями... Два узких желтых листика висели на красно-коричневой ветке. Было тихо. Маленькие купола с белесоватой позолотой тянулись на тонких шеях к серенькому небу...

– Катерина Александровна, война объявлена!

Катерина Александровна перекрестилась. – Спуститесь, я подумаю. – Через несколько минут она сошла с горы. – Завтра будем укладываться. Идемте, надо устроить манифестацию. – Быстро пошли по мягкой от пыли дороге. Дашенька и Иеретида шагали сзади.

Съели по кусочку хлеба с маслом. Катерина Александровна поправила прическу и надела цепь. Марья Карловна наскоро причесалась, надела белую кофту, пригладила ее ладонями и одела девочек в белые платья. Она дала им тон, и они спелись. Ее муж взял Катерину Александровну под руку. – Тетечка, вы – с ним, я с детьми – перед вами, Дашенька – впереди, с флагом. Иеретида пойдет сзади. Около Пфердхенши будем кричать «долгой Германию». – Катерина Алек-

сандровна сказала: – С Богом, – сделали важные лица, Иеретида открыла калитку, запели «Боже, царя храни» и вышли на улицу.

Уже темнело, когда Гаврилова и ее дачница дочистили крыжовник. Гаврилова перекрестила блюдо и сказала: – Ну, в час добрый. – Вытерли шпильки и воткнули их на место, в волосы. Сполоснули руки, разулись, повязали головы, поставили самовар и спустились под откос – купаться.

– Мальчишки, убирайтесь! – Пока мальчишки одевались, посидели на камне. Обрыв на другом берегу был желто-красный, будто освещенный заходящим солнцем...

Наплавались и с счастливыми лицами, скрестив руки, тихо стояли в воде. – Погодите-ка, что за история? – По улице шла толпа с флагами. Дачница вылезла, натянула рубаху и побежала узнать. – Война объявлена, – задыхаясь, крикнула она через минуту и схватила платье. – Акцизный на крыльце с флейтой: – Боже, царя... Побегу, обуюсь...

– Трубу с самовара снимите, – закричала, поглядев ей вслед, Гаврилова. Она одна стояла над водой... Трясущими руками завязывала тесемки и застегивала крючки.

Письмо

1

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет Бог и расточатся враги его. Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного Бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла интернационал.

– Мерзавцы, – шептала Козлова, – гонители... – Снег скрипел под ногами. Примасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски. Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье. Вот – чай. Мосье рассказывает о лурдской Богородице. Авдотья отворяет дверь и подслушивает. Козлова показывает на нее глазами. – Приветливая женщина, – говорит мосье. Потом он берет за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он аккуратненький, седенький, раскланивается, она – прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах

правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах – старомодная улыбка. – Приходите, мосье... – А вот – в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького дерева в зеленой кадке медленно падают листья. – Как грустно, мосье... – Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном. – Так и вы, мосье, забудете нас, как сон. – О, мадмуазель! – Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой. – Кого же и назвать сивиллой нашего времени, если не мадам де Тэб, – напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке – штопала чулки или читала приложения к «Ниве». Вторник был женский день – ходили с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар. – Гражданка, гражданка, – высовы-

ваясь из будок, зазывали торговки, – барышня или дамочка!

Иногда приходила Сулова, и долго пили чай: хозяйка – чинная, с любезной улыбкой, гостя – растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях. – В Петербурге я кого-то видела, – рассказывала круглощекая Сулова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая – с Адмиралтейством). – Не знаю, может быть, саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и порх в подъезд. – Может быть, экономка с покупками, – отвечала Козлова.

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят. В открытые окна прилетали звуки оркестров.

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные. – Мерзавцы, гонители. – Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет? – Потом вошла луна, и души смягчились. В соборе трезвонили, в саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Демещенку, Гаращенко и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками. Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой. – Венеция, – прошептала Козлова. – Венеция э Наполи, – ответила Сулова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно: – Когда горел кооператив, загорелись духи и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу – в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано: «Кого же и назвать сивиллой нашего времени, если не мадам де Тэб». – Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед службой забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду. Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки – простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с Преображением. «Недолго мучиться», – радостно подумала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно. Хотела сходить к Сусловой. Но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Солнце садилось, и закат был простенький – одна полоска красноватая и одна зеленоватая... Козлова была любительница поливать. – Когда поливаешь, – говорила она, – душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку – и луна блестела в быстро исчезающих лужицах. Заиграл оркестр, Козлова бросилась к воротам. Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался

на виселице. Свет перебегал по лицам маршировщиков. – Ать, два!левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура! – разинув рот, маршировала Сулова. Из темноты прибежала Авдотья: – Англия воюет.

Перед киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью. С светлым лицом, Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины. – Пасха, – наслаждалась Авдотья. Ругали дурищу Сулову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол – дребезжа, подпевали стекла. Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: – Товарищ Ленин. – Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую. – Завтра Иоанна-воина, – сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками. – Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и знаете – ее забрали и присудили на три года. «Хорошая женщина, – подумала Козлова, – религиозная... Сутыркина, кажется». – Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной: – Вы где живете?

Вышли вместе – Козлова степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина – вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями. У калиток ло-

мались перед девушками кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной. – Свое холщовое пальто, – говорила Су-тыркина, – я получила от союза финкотруд. В девятнадцатом году я у них караулила сад. Жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу, не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера! – Вы говорите, в девятнадцатом году, – сказала она любезным и приятным голосом. – Помните, все тогда ахали – того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиток хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды. – Вы не были на губернской олимпиаде? – спрашивала иногда Сутыркина. – Почти совсем голые! Фу, какое неприличие. – И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида.

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтелись кле-ны. Рябины с красными кистями напоминали Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала Сутыркина: – Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов. – Козлова поджала губы. – Знаете – с достоинством сказала ей Сутыркина, – я всегда сообразуюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку – пополнять свои сельскохозяйственные знания.

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету. – Вот два интересных объявления. – Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась. Одно было от Харина – к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое – от епископа: седьмого ноября во всех церквях будет торжественная служба и благодарственный молебен. – Понимаете, какие теперь веяния?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полыню от полынного веника.

Александра Николаевна вышла замуж за Петра Ивановича – стоя под венцом, они блистали красотой. А Николай Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени выпускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молодой. Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Сулова – красная, в большом платке, с петухом под мышкой. – Ну как? – бормотала она. – Давно не встречались... Тяжело жить. Вот купила петуха – на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет? – Козлова взяла ее за руки: – Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки. Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам. Из ворот был виден монастырь святого Кукши – тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились коричнево-красный дворец и желтое Адмиралтейство. Сегодня вечером чувствительная Сулова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из приложений, будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином. – Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной, – скажет Козлова. – Настоящей дружбы у нас с ней не было...

Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта

и Розы Люксембург. – Мосье, мосье! – На столбах зажглось электричество – желтые пятнышки под серыми тучами. – Письмо тебе, – отворяя дверь, сказала Авдотья.

Письма к писателям 1924–1936

Письма к К. Чуковскому

1924 год

1

Многоуважаемый Корней Иванович.

Очень благодарю Вас за Ваше письмо. Если можно напечатать эти два рассказа в четвертой книжке, то – хорошо бы. Вы разрешаете послать Вам что-нибудь еще. У меня есть одна вещь непереписанная. Недели через две, я думаю, я ее вышлю.

Ваш слуга Л. Добычин.

25 сентября 1924.

Брянск. Губпрофсовет.

Леониду Ивановичу Добычину.

2

Многоуважаемый Корней Иванович, позвольте просить Вас прочесть эту рукопись. Она еще старая (прошлогодняя) и совсем не модная. Но, может быть, все-таки годится, чтобы напечатать в каком-нибудь месте попроще. Не можете ли Вы дать мне в этом отношении совет: я никаких адресов, кроме «Современника» не знаю, в «Современник» же соваться с ней не решаюсь.

Ваш слуга Л. Добычин
10 октября 1924.
Брянск. Губпрофсовет.

3

24 ноября.

Корней Иванович. Я получил Ваше письмо вечером, а утром послал в «Современник» маленькую – не знаю, как ее назвать, я не посылал бы ее, если бы получил Ваше письмо раньше: я просто хотел про себя напомнить.

Мне жаль, что нельзя напечатать Катерину Александровну. Из всего, что я писал, я ее больше всего люблю. Вы спрашиваете про повесть на 4 листах. Я не умею мерить на листы,

ибо никогда еще не имел с ними дела.

То же про деньги. Конечно, деньги нужны, но что значит «по первому требованию»?

Что я делаю в Брянске? Убиваю уже шесть с половиной лет и не надеюсь, что когда-нибудь это изменится.

Давно ли «занимаюсь литературой»? Это похоже на насмешку. Я не занимаюсь литературой. Будни я теряю в канцелярии, дома у меня нет своего стола, нас живет пять человек в одной комнате. Те две-три штучки, которые я написал, я писал летом на улице или когда у меня болело горло и я сидел дома. Книг я никаких не читаю (ибо их здесь нет), кроме официальных. «Повесть» писать я начал, и очень модную (то есть действие в 1924 году), но именно потому что у меня три дня болело горло. К весне, может, и закончу.

Ваш Л. Добычин.

4

25 ноября 1924.

Многоуважаемый Корней Иванович. К вчерашнему письму мне надо добавить вот что: эту гадкую рукопись, которую не надо печатать, пожалуйста, пришлите. Ее «свежие детали» я буду рассовывать по другим изделиям, когда до них дойдет дело.

Потом, чтобы заинтриговать Вас тем рассказом, о кото-

ром я вчера возвестил, скажу: уже вижу, что он будет – хороший. Позвольте рассказать, как я узнал о Вашем журнале. В канцелярию явился разъездной паренёк от Вашей конторы для соблазнения на подписку. Я увидел неказенные фамилии и запомнил адрес.

Да, Вы спрашивали, сколько мне лет: тридцать.

Л. Добычин.

5

Многоуважаемый Корней Иванович. Рассказ я вышлю 12 января – он будет готов скорей, чем я думал: Ваше письмо меня оживило, и т. д. Только он будет не длинный, а опять в четырех главах, как и прежние. Должно быть, мне не уйти от «четырёх глав».

А гадкую рукопись, пожалуйста, верните, как я просил. Кое-какие из ее украшений я уже ввернул в новый рассказ, и они ему к лицу и не имеют поношенного вида.

Может быть, Вы напишете мне еще раз: получив Ваше письмо, я чувствую себя не такой канцелярской крысой, как обыкновенно. Будет ли напечатана «Козлова»?

Ваш Л. Добычин

3 декабря 1924.

Брянск. Губпрофсовет.

1924, декабрь.

Дорогой Корней Иванович.

Хорошо, что Вы выбросили «Брянск, Губпрофсовет», – не только ради Фишкиной, но и потому, что я таких «подписаний» очень не люблю («Коломна, 25 декабря старого стиля») и написал это просто как адрес.

Как долго не выходит Ваш четвертый Номер. Я беру читать «Современник» у Союза «Нарпит»: они не знали, что это – «типичный образец нэпманской литературы», и подписались.

Корней Иванович, может быть, мне удастся съездить в Петербург: пальто-то у меня есть не в пример Сергееву-Ценскому. От этого я бы сделался умнее и стал бы писать лучше, а то я совсем эскимос, правда, в конце зимы, может быть, удастся.

Я посылал в «Современник» маленькую штучку – «Нинон». Печатать ее или не печатать – это все равно, она не имеет значения, но – Вы ее читали?

Вот почему я вышлю свой рассказ 12 января: перед этим будет много праздников, и я к тому времени успею с ним разделаться. У меня еще девять праздников впереди!

Ваш Л. Добычин.

27 декабря.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мой рассказ готов. Осталось два раза переписать – себе и для отсылки. Не будете ли Вы добры дать мне несколько справок: заплатят ли мне в «Современнике» за мои изделия и какая на них цена.

Каковы виды на выход следующих книжек? Четвертая что-то застряла.

Когда Вы прочтете рассказ, очень прошу написать мне, нет ли там пережевывания того же, что было уже в прежних. По поводу «воды» я выпишу Вам один рассказ Щедрина (знаю его наизусть): «У одного городничего спросили:

– Вы берете, Иван Капитонович, взятки?

– Никогда!!»

Ваш Л. Добычин.

Вы укорили меня «наисовременнейшими книгами», которые я, будто бы, читаю. Напраслина! И не нюхивал.

Не заступаюсь за «Нинон», но находите ли Вы, что и остальное пересушено?

Пишете о Ветре. А я думал, он ослабел.

1925 год

8

Многоуважаемый Корней Иванович.

Когда Вы получите это письмо, Вами, возможно, уже будет прочтен посланный мной рассказ. Хотя ему и далеко до «у одного городничего спросили», все же он довольно короток. Если Вы найдете, что о нем стоит писать, я просил бы Вас написать мне, как Вы его находите. Не сердитесь, что я к Вам пристаю: ведь Вы мой единственный читатель.

Должно быть, в своем последнем письме я задал вопросы, каких не полагается, потому что Вы на них не ответили. Сие было от незнания этикета – и вот я от них уже воздерживаюсь.

Мне попали в руки две книжки «Красной нови» с Бабелем, «Концом мелкого человека» и «Виринеей». Я очень обрадовался «Мелкому человеку», ибо мне очень приятны «Записки Ковякина» (конечно, кроме конца), и – увы, какое падение. «Виринея» же, как я и ожидал, – сюсюканье.

Корней Иванович, хоть я от неполагающихся вопросов и воздерживаюсь, но все-таки: почему журнал не выходит? будет ли он выходить дальше? какие затруднения и что такое «Магарам»?

Что такое Зощенко? Летом мне попался один его рассказ, и с тех пор мне было приятно о нем думать (о нем и о Леонове), а теперь он... в «Бузотёре».

Л. Добычин.

17 января.

9

20 января.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Сегодня пришла четвертая книжка. В двух-трех местах «Встречи» перевернули. Но все же я очень рад. Почему «Козлову» перекрестили в «Учительницу»? Она служит в канцелярии. К тому же, это невежливость перед «Красным педагогом». Я еще ничего не прочел из четвертой книжки, кроме своих пяти страничек. Есть Ваша статья....

Между прочим, если позволите быть нескромным, я уже затеял новое изделие, и оно будет чуть ли не РОМАН!

По крайней мере, там много персон.

Знаете, чего мне больше всего жаль из пропущенного текста («Встречи с Лиз»)? – про «никакого марксистского подхода». Половина Фишкиной с этим отскочила. Разрешите сделать Вам маленький подарок – рассуждение о «свободе печати», вырезанное из газеты «Труд».

Л. Добычин.

10

21 января.

Многоуважаемый Корней Иванович, явите милость, отмените «Учительницу», ибо она не «учительница» – что-то постное и, кроме того, с претензией на обобщение – «лучше не называть, в каком департаменте».

Если начальники обратят внимание на «Встречи» и найдут их нахальными, очень прошу сообщить мне, по возможности – подробно. В Вашем первом письме я прочел, что стою «на правильной дороге». Я всегда хотел спросить, в чем именно, и всегда забывал. Может быть, Вы когда-нибудь удосужитесь дать мне назидание.

Вчера я успел кое-что просмотреть в четвертой книжке – очень забавен «Привет безбожнику» Онуфрия Зуева. Хорошо тоже «Всемирная величина Стеклов». Я еще не читал, но видел остальные рассказы – они такие солидные, с квадратными абзацами, а мои четыре с половиной странички такие растрепанные.

Как мой новый рассказ: 1) не хуже ли прежних? 2) не слишком нахален?

Можно ли куда-нибудь приткнуть этот сухарь «Нинон»?

Л. Добычин.

26 января.

Многоуважаемый Корней Иванович. Вы неправы. Первый абзац нужен: там следы от волос на песке, а в четвертой главе – следы от сена на снегу. Отсюда – «что-то припомнилось». Благодарю Вас за предложение насчет комнаты. Если наберу денег, чтобы поехать, то ими воспользуюсь. Только какой Ваш домашний адрес?

Написал письма Богдановской и Слонимскому о передаче рассказов, Богдановской, кроме того, о высылке книжки и гонорара.

Вы уезжаете, и «Современник» на исходе. У меня – как будто кто-то умер: ведь это Вы подобрали меня с земли.

Л. Добычин.

3 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович, я очень рад, что Вы, во-первых, вернулись, а во-вторых – вспомнили про меня. Навряд ли я смогу написать что-нибудь об индейцах (я читал Вашу книжечку про умывальник – это очень мило, поэтому

и говорю, что не рискну на индейцев). Но к 12 мая думаю изготовить одно изделие для взрослых. Оно будет немножко нахальное, но не так, как «Ерыгин». И, к сожалению, тоже короткое (к сожалению потому, что за него заплатят – двадцать целковых).

Ерыгин, должно быть, так и пропадет – мне про него ничего не пишут.

Я встретил одну старуху, которая читала в «Современнике» про Кукина. Она сказала: «Я очарована. Когда читаешь в первый раз, кажется – так себе. Потом я как-то начала читать еще раз и тут поняла. „Моды де-Ноткиной!“ – тут она принялась перебирать одно украшение этой истории за другим. – Вот и весь фимиам, который передо мной был воскурен.

Хулы же были вот какие: «Я удивляюсь, как цензура это пропускает: лето, и вдруг – лед!» А другая: «Вот, например: Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. – Что тут красивого? И потом – кто это? где?.. И не написано, что они сидели.»

Корней Иванович, моя чиновничья профессия – «статистик». Как Вы думаете, можно в Петербурге поступить куда-нибудь такому чиновнику?

Ваш Л. Добычин.

13

6 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Кажется, я напишу рассказ об индейцах. Это будет про козу. Только не длинный, а короткий. Если я когда-нибудь разбогатею, то тогда буду писать одно длинное. Про козу пришлю Вам, должно быть, через 2–2 1/2 недели. А сочинение для взрослых буду стряпать после козы.

Оно будет хорошее.

Вы писали о тесной связи, установленной мной с «Ковшом» и «Ленинградом»: не такая уж тесная. От них ни слуху ни духу. Что делается с переданными им «отличными рассказами», совершенно не знаю.

Ваш Л. Добычин.

Когда (в середине мая) будет готово взрослое сочинение, разрешите послать его Вам и просить Вашего указания о том, кому его (сочинение) предлагать.

14

10 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Назвался к Вам с козой, но ничего из этого не выходит.

Слонимский на мои вопросы о переданных ему рукописях не отвечает. Если Вас не затруднит, могу ли я просить Вас позвонить ему по телефону и справиться? В особенности портит мне настроение неизвестность о Ерыгине: будет жаль, если эта работа пропадет.

Корней Иванович, миленький, не рассердитесь на меня за эту просьбу.

Л. Добычин.

15

13 марта.

Многоуважаемый Корней Иванович. Слонимского можно отпустить на покаяние. Он написал (что Козлова будет напечатана тогда-то, крошащийся сухарь «Нинон» тогда-то, а Ерыгина «в крайнем случае проведет через „Ленинград“. А как насчет не „Ленинграда“, а ЦЕНЗУРЫ – ни полслова. Я ему – письмо: как насчет цензуры? – Может быть, ответит).

Он пишет исключительно заказными. Это страшно шикарно и производит в канцелярии сенсацию и фурор. Уверены, что письма – от Столичных Львиц.

Ваш Л. Добычин.

4 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович. Примите произведения местной флоры, как-то:

- 1) вербовая ветвь с барашками и
- 2) вербовая ветвь же с сережками.

Мы уже пережили обманный день 1 апреля («по новому»). Товарищ Злобина, рассыльная, позволила себе несколько маленьких обманов. По этому случаю произошла следующая бумага:

местному Губернскому Совету
Профессиональных Союзов

2 IV 25 г.

Прошу принять меры союзного воздействия к т. Злобиной, у которой отсутствует дисциплинированность за последнее время, в части 1/IV с.г. наблюдался случай обмана служебных лиц с целью вызовов к другим должностным лицам.

Управделами ГСПС Солоухин.

Это значит, что она говорила: «Вас зовет Солоухин», а на

самом деле он не звал.

Вчера бухгалтерия «Ленинградской Правды» прислала мне тридцать рублей «за статью по Ленинграду № 9» и просила уведомить о получении. Я уведомил.

В последний раз о Слонимском: конечно, он не ответил, простите, что Вам об этом пишу. Больше не буду. Я только потому, что, по-моему, это характерно.

Я спрашивал Вашего позволения адресовать Вам свой новый рассказ. Он будет готов в срок, который я ему поставил, то есть двенадцатого мая. Героиню зовут «Савкина», одного ксендза – «Валюкенас», другого – «Варейкис», а ксендзовскую стряпуху – «Эдемска». Можно прислать?

Получив тридцать рублей, я купил четыре вещи, в том числе один оселок. В каком-то классе я разучивал о Фридрихе «дер Гроссе»,²⁷ что он следующим образом выразился о картошке: «Это чудесное подспорье для бедного люда», так и сочинение русской прозы.

Корней Иванович, пусть этот день будет днем подарков: к дарам флоры я присовокуплю еще «Систему б.о.». Коза, о которой я Вам писал, мне является, после Савкиной я возьму ее за рога и напишу про нее историю. Пригодится ли она для детей, не знаю. Впрочем, теперь и нет детей, а Детские коммунистические отряды Имени Товарища Ленина.

В московских «Известиях» я видел в «критике и библиографии» заметку о какой-то «авантюрной» книжке, подпи-

²⁷ Великий (нем.).

санную «К. Ч.» – не Вы ли?

Когда приносят почту, я перебираю ее и смотрю, нет ли письма от Вас: нет.

Ваш Л. Добычин.

17

4 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович. Сегодня я Вам послал письмо, в котором были тысячи инсинуаций на Слонимского. Послав его, получил письмо Слонимского и спешу дезавуировать инсинуации.

Про Ерыгина он пишет, что навряд ли. Вот тебе и клюква.

Л. Добычин.

Между прочим: то письмо я послал заказным не ради шикарности, а потому что напихал туда всякой всячины и не знал, сколько нужно марок.

Л.Д.

18

7 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Желая вновь подвергнуться похвалам старухи, про которую я Вам писал по поводу истории о Кукине, я дал ей прочитать Козлову. Сегодня утром я ее встретил на улице: – Как вы нашли? – она прищурилась. – Понравилось. Какая мерзкая погода. – Каково Благовещенье, такова и Пасха, – сказал я. – Есть и еще примета, – обрадовалась она: – Осенняя: Дмитриев день в снегу – и Пасха в снегу. – Правда, правда. Причина ее холодности – святой Кукша и епископ с помоями. Недавно я думал о том, какой у Вас может быть вид, и решил, что, должно быть, вроде Максима Ковалевского.

Ваш. Л. Добычин.

19

14 апреля.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Благодарю Вас за письмо. Происшествие с Злобиной – действительное.

Савкину пришлю. В ней уже одним ксендзом стало мень-

ше.

О козе будет нечто обширное. Жалею бедняг Толстого и Федина, которых не пригласили и оттеснили. Сейфуллина хотя Вам и звонила, все же не пишет, а сюсюкает.

Вы упомянули о Слонимском за письменным столом. Если позволите мне эту интимность, то я – пишу за швейной машиной. Вольного Вы от меня не услышите – ах, за кого Вы, в самом деле, меня приняли?

Приношу Вам поздравление с праздником святой Пасхи. Ваши комплименты, основанные на местоположении Брянска вблизи Орла и Тулы, преувеличены. К тому же я – небрянский.

Примите уверения и прочее.

Ваш Л. Добычин.

20

Многоуважаемый Корней Иванович.

Сегодня у меня юбилей. В этот день в прошлом году я послал в «Современник» два рассказа. Вашими руками они были устроены. Не могу не отказать себе в побуждении выразить Вам еще раз свою признательность.

Ваш слуга А. Добычин.

12 августа 1925.

Многоуважаемый Корней Иванович. Вот рукописи, которые Вы разрешили Вам прислать.

Одна из них мне нравится (Коза), а другая – так себе.

Между прочим, сегодня мне начал приходить в голову один рассказ, и так как у меня еще десять дней отпуска, то, может быть, я успею написать это для «Современника» (если возьмут).

Когда к Вам придет Шварц, пожалуйста, скажите ему от меня что-нибудь хорошее. Он был со мной очень любезен.

Выздоровливаете ли Вы?

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

Да, о Вашей наружности, если позволите: я представлял себе Вас дедом, а Вы...

9 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мой приезд откладывается – из-за денег. Я думал полу-

читать что-нибудь от Ковшмейстеров и просил у них, но на мои свирели они не восплясали.

Вчера кончился мой ОТПУСК, и я опять – у алтаря. По дороге к нему увяз в улице III Интернационала, бывшей Московской, и разорвал левую калошу, за что меня дома будут ругать.

Мой рассказ скоро будет готов – про женщину, которая удачливей меня: она уедет.

Л. Добычин.

23

12 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович. В этом письме будет вопрос, поэтому, если Ваше здоровье позволяет, я попрошу мне ответить.

Вопрос – куда послать рассказ, чтобы он попал в «Современник».

Мне хотелось бы узнать еще, как Вы нашли Козу с Сорокиной, в частности – нет ли там впадения в Добычинский шаблон?

В новом рассказе, кажется, увы, этот шаблон есть. Но все-таки рассказ не без живости. Называться он будет, кажется,

«Блауэ берге»,²⁸ а если это – чересчур, то – скромнее: «Блинова и Воблина». В этом рассказе – плохая погода.

Прочитывая объявления про книги, я узнал про Шварца две вещи:

1. Шварц, Е. – Вороненок,
2. Шварц, Евг. – рассказ старой балалайки.

А третье – Шварц, Е. – гордец – знал раньше, потому что в прошлом году ему писал, а он не отвечал. Все это Вы ему, пожалуйста, если можно, скажите.

Ваш Л. Добычин.

Раскаиваюсь, что не ел у Вас яблок и меда: помните, Вы предоставили мне эту возможность? Может быть, она уже не повторится.

24

19 ноября.

Многоуважаемый Корней Иванович. Это ничего, что Вы мне не отвечаете: через несколько дней я опять приеду.

Это будет – как Вы в Лондон (без копейки).

Рассказ, который я с собой привезу, очень коротенький (рублей на семь), кроме того, я в нем сомневаюсь. Он назы-

²⁸ «Голубые горы» (нем.).

вается «Казанский» (Казанский собор). Надеюсь увидеть Вас здоровым.

Л. Добычин.

1926 год

25

21 января.

Многоуважаемый Корней Иванович. Соблазнился ли мсье Клячко моими инсинуациями о кошке? Если нет, то, может быть, Коля (Чуковский) не откажет, идя куда-нибудь на Невский, 28, захватить их и передать через Шварца Самуилу Маршаку, может быть, там клюнет.

Вчера я посетил для очистки совести немало канцелярий, но не почувствовал влечения в них наняться и остался праздным. Не скрою, что усаживаюсь за новую попытку тронуть Клячкино сердце. Вскоре она будет представлена Вам на суд. Сегодня день скорби, и базар утыкан флагами, как карта театра войны, какими обладали иные семейства.

Разрешите присовокупить к сему мой Пламенный Привет и выразить надежду, что Ваша температура не выходит из желательных границ.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

26

28 января.

Дорогой Корней Иванович. Вот еще одна (и последняя) халтура. С ней так же ничего не выйдет, как и с кошкой. После провала у Клячки я попрошу повторить те же приемы, что и с кошкой, то есть через:

1) Колю,

2) Шварца довести ее до Маршака.

Коля, милый, пожалуйста, я очень прошу Вас, когда Вы пойдете в Госиздат, захватить с собой мою халтуру и отдать Шварцу для Маршака.

Завтра я наймусь в Губстатбюро за семьдесят пять целковых в месяц с обязательством служить до 1 октября «без ограничения временем», то есть попросту, больше шести часов в день – сколько велят.

Корней Иванович, пожалуйста, напишите мне о провале моих халтур и еще о том, напечатал ли Иона («Ёна»), наконец, мою драму. Может быть, Коля будет добр напомнить Вам ответить мне на это письмо.

Коля, простите, у меня к Вам еще одна просьба: напомните Корнею Ивановичу, чтобы он написал мне о том, о чем его просил. Вы хорошо относились ко мне и один раз похвалили мое рисование. Поэтому я и надеюсь, что Вы мне не откажете.

Я никогда не забуду вас двоих, как вы читали Фета: Вы под одеялом; Коля – в валенках. Из слов я запомнил только: «Как воспоминанье», но зато помню, что было очень хорошо.

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

27

4 февраля.

Дорогой Корней Иванович. Благодарю Вас за сенсации о Тынянове и Тихонове. Тихоновского письма я не получал и потому всех, кто едет в Москву, просил ругать его и наносить ему побои.

Что касается неудачного детского рассказа, то, конечно, он – гадость, – я даже не оставил себе копии и не считаю, что он существует.

Коля, малютка, Вы очень добры, я очень тронут Вашей готовностью исполнить мои просьбы.

Я все собираюсь начать хороший рассказ, о котором столько времени трублю, но никак не могу – он очень трудный. Мои земные дела сейчас в таком виде: нанимаюсь в «отдел местного хозяйства» и обещаю на словах не уезжать до осени, но не подписываю никаких кабальных грамот.

Оттуда, кажется, будет можно съездить в Москву. Этим случаем я воспользовался бы, чтобы напасть на Тихонова и принудить его хорошо вести себя в «Круге».

Коля, хорошо ли Вы умеете ругаться? Если да, то, пожалуйста, при встрече выругайте Шварца (такой один тощий): я ему послал три письма, а он поступает, как народ в гениальной драме А. С. Пушкина (см. Саводника). Если он даже раскается и исправится, я все равно больше ему ничего не напишу, потому что на своей бумажке с адресами решил зачеркнуть его адрес, а без адреса писать – правда? – не стоит.

Мне очень стыдно, что Мария Борисовна присутствовала при чтении этого непристойного рассказа: ведь там (простите), насколько мне помнится, купаются! Сплачиваю вокруг Вашего знамени свои стальные ряды и шлю Пламприв.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

13 февраля.

Дорогой Корней Иванович. Я предчувствовал, что мне не удастся залезть в карман к Клячке.

Вы пишете про «замечательно талантливы» – это, с моей стороны, конечно, очень мило, но жаль, что ни к чему не ведет.

Тот рассказ про ситный я снова написал – теперь гораздо лучше – и послал Лежневу. Я думаю, что если его не прикроют, он напечатает. Жаль только, что он такой Бедняк.

Я начал свой рассказ (протрубленный) и, кажется, выйдет очень ловко. Я его пришлю Вам в приношение на Ваш алтарь, а серапионам – для печатания.

Будет ли удобно, если я напишу Тихонову (А. Н. или Н. А.?) и спрошу про свои рукописи? Мне необходимо сорвать Шерсти Клок откуда бы то ни было.

Корней Иванович, хорошо бы, если бы Вы мне прислали мою сказку про кошку – у меня нет копии, а эту сказку я попробовал бы разделать так, чтобы она сошла для взрослых. Ее жаль выбрасывать, в ней есть приятные места.

Конечно, **Вы гораздо лучше**, чем Шварц, – кто может спорить? Я уже отряс его прах с своих ног, мне враждебны его кумиры и ненавистен его Пышный Чертог.

Дуся Слонимская мне написала пятого числа, что у этого

Тирана (проклятье!) есть для меня какая-то новость, которую он не хотел сказать Слонимским и сулился прислать сам, но не прислал и по сие время. Вот они, посулы буржуазии.

Коле шлю пламприв гораздо более почтительный, чем он мне: он автор многих книг, а я. – Кроме того, он – отец семейства.

Если Ю. Н. Тынянов еще раз хорошо отзовется о Моем Таланте, то я берусь очень хорошо отзываться о его таланте (я слышал несколько строк из его «Кюхли», когда Вы их читали вслух) перед жителями г. Брянска (губернский город! Центр промышленности с 40 тысячами рабочих!).

Корней Иванович, поливайте от времени до времени капусту Моего Таланта своими письмами. Пламприв.

Вам пред Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Корней Иванович, ходите ли Вы или лежите?

29

24 февраля.

Дорогой Корней Иванович.

По печатным указаниям Вашего письма вижу, что вы в Кубуче. Бедный Коля, пусть он бросит всю эту историю, мне очень стыдно, что я ее затеял: к Шварцу, от Шварца и т. д.

Сегодня мне вернули мое письмо к Тихонову: в домашней книге по Кривоколенному, 14 не значится. Ну и бог с ним.

Я бегая на Временную работу по три рубля в день и думаю о том, как бы подцепить Вечную. Сочинять Сочинений не собираюсь – совет мосьё Иванова из брянской газеты попусту не пропал.

Беднячок Лежнев, у которого лежат три моих рассказа, не пишет, будет ли он их печатать, да я больше этого и не добиваюсь. Однажды, пока я еще не остепенился, я ему даже послал марку для ответа, но она без пользы для меня присо-вокупилась к его скудному скарбу.

Кубуч – я это видел около Казанского собора – лавка с чучелами и заспиртованными лягухами.

Ваш. Л. Добычин.

Выздоровели ли родственники Поэтессы Поляковой? Выгнали ли Пяста (кажется, так?) из «Красной газеты»? – Это я щеголяю знанием света.

30

25 февраля.

Дорогой Корней Иванович.

Я должен дезавуировать свое вчерашнее письмо в его ноющей части. Временная работа сегодня превратилась в бес-

срочную впредь до открытия На редкость Блестящей Должности (150 рублей!!!!!!!!!!!!) в отделе местного хозяйства, о котором мне сегодня сообщили, что она окончательно за мной.

Кроме того, сегодня утром все обломки, из которых должна была составиться трубная история (так называемая «протрубленная»), соединились не без ловкости, и возможно, что к весне эта история будет написана.

Если это не беда, что я хвастаюсь перед Вами своими удачами, то позвольте похвастаться еще одной: сегодня я посетил Союз Советских и Торговых Служащих, и там меня Угостили Коньяком (который хранится в ящике стола).

Я не знаю, кому я имею право просить Вас передать мои почтительные приветы, но кому можно – не откажите.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

31

6 марта 1926.

Дорогой Корней Иванович.

Признаки весны такие: четыре дня оттепель, с холмиков на поле снег уже слез.

Спасибо за расправу с Тихоновым – авось она его вразумит.

Кроме Вас, мне никто не пишет, применяю к себе по это-

му случаю стихи Псалмопевца:

«Я забыт в сердцах, как мертвый,
я – как сосуд разбитый».

Вам кланяются Капитанникова, Конопатчикова, Берёзынькина и Вдовкин (я про них сочиняю Сочинение). Капитанникова, Конопатчикова и Берёзынькина, кроме того, Вас целуют.

Я взял у Цукерманши (это – библиотекарьша в Клубе Карла Маркса) Фета, чтобы быть похожим на Вас, только этот Фет очень коротенький – о 45 страницах, но зато с картинками (Конашевича). Цукерманша обижается, что ее заставляют выдавать игрокам под залог удостоверения личности восемь шашечных досок и приглядывать, чтобы не раскрали шашек.

Бедняга поэтесса (по поводу Свинки)!

Кланяюсь, с Вашего разрешения, Дамам и Малюткам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ (может быть, Вы уже знаете этот адрес наизусть), Привокзальная, 2.

Что Вы думаете о Пантелее Романове?

8 марта.

Дорогой Корней Иванович.

Я получил из «Круга» это глупое письмо. При чем тут какая-то «Красная новь»? Что касается «А. К. Воронского», то конечно, ему «моя рукопись» не понравиться обязана – на то он и полицейский.

Я сообщаю это Вам не для того, чтобы просить Вас что-нибудь предпринимать, а просто потому что Вы знаете, в чем дело. История с «Кругом» на этом **закончена**.

Лежнев печатает «Сиделку» во втором номере, а два других рассказа прислал обратно по причине неактуальности. Спасибо и на «Сиделке».

Не знаете, напечатал ли Иона в «Красной» мой рассказ? Мне кажется, что важно только печатать, а что – безразлично. Я до сих пор не знаю, пойдут ли в конце концов мои рассказы в «Ковше». Поклонитесь от меня Тынянову. Я его полюбил еще во времена «Современника» за заметку о Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2

22 марта.

Дорогой Корней Иванович. Цукерманша будет необыкновенно обрадована Вашим поклоном. Я передам его ей, как только пойду относить ей «Арсена Люпена». Вижу, как она расцветет и просияет.

У нее в «Карле Марксе» течет крыша и под капли подставлена лохань. Несколько раз в минуту раздается: плюх, плюх, плюх, – она хватается за голову и восклицает: «Ах, как действует на нервы!»

Кроме того, ей недавно убавили жалованье. Я об этом узнал в следующей форме:

«Цукерманша проглотила пилюлю: ей сбавили жалованье».

Она украсила стены «Карла Маркса» Лозунгами: «Каждый день читай хотя бы по одному часу и обдумывай прочитанное».

И тому подобное.

У меня она спросила: «Какие в Ленинграде Лозунги?» – а я не знал.

Вы пишете в своей открытке о Потомках: Корней Иванович, не смейтесь надо мной.

Лежнев напечатал про «Сиделку» с перевернутыми строчками, так что вышла совершенная бессмыслица. Я не хотел

бы, чтобы кто-нибудь ее прочел.

Зато он поместил мою фамилию на обложке в списке Светил, которые печатаются его иждивением. На обложке он очень расхваливает свой журнал и сообщает, что По Типу он Приближается к Англо-американским.

По объявлениям о выпускаемых Начальниками журналов я вижу, что дела С.-Ценского поправляются: там и отрывок из романа «Пробуждение» и повесть «Жестокость».

Для заглавий он любит отвлеченные слова.

Цукерманша спрашивала, кто Теперь Считается Восходящей Звездой, и я хотел сказать, что – я, но она бы не поверила. Пришлось сказать, что я не знаю.

Изумлю Вас дешевизной парикмахерского прейскуранта в Брянске МВБ: вчера я допустил проделать над собой такие операции:

- 1) стрижка,
- 2) бритье,
- 3) освежить,
- 4) хинной,

и все это стоило 0 рублей 75 копеек.

Парикмахер был любезен, много разговаривал, спросил: «Сами броеетесь наиболее?» Старухи пошевеливаются, Вам кланяются, между ними есть и молоденькие. Как-нибудь соберутся в Питер (или Литер?)

Ваш Л. Добычин.

Адрес Брянска МББ:

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

34

10 апреля.

Дорогой Корней Иванович.

Ничего, что я Вам дарю эту славненькую открыточку?

Случилось вот что. Есть такая фоминская дочь.

Из третьих рук я узнал, что она видела какой-то альманах с моими тремя рассказами (или, может быть, объявление – я не знаю). Это должен быть «Ковш» (фоминской дочери я не знаю и от нее разузнать ничего не могу).

Если – да, то значит, он вышел, а если вышел, то НЕ МОЖЕТ ЛИ КОЛЯ ЧУКОВСКИЙ, КОГДА ТАМ БУДЕТ, ВЕЛЕТЬ ИМ ПРИСЛАТЬ МНЕ КНИЖКУ?

Коля, пожалуйста, умоляю!

У меня там знакомых нет, потому что Слонимские написали (еще в феврале), что они уехали в Париж.

Может быть, и Вы уехали?

Л. Добычин. (уездный сочинитель).

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

1927 год

35

Дорогой Корней Иванович.
Позвольте поднести Вам препровождаемое при сем.

Л. Добычин.
30 января.
Брянск, Губстатбюро.

36

Дорогой Корней Иванович.
Очень благодарю Вас за письмо. Как Вы здоровы?

С «Мыслью» навряд ли что-нибудь удастся: ей нужно листа три-четыре, а у меня – два с четвертью.

На всякий случай, если «Мысль» все-таки прельстится: Сметанич спрашивает о Моих Условиях, а я вообще не знаю, что за условия бывают. Корней Иванович, быть может, Вы меня подучите.

Понравились ли Вам стишки и песни в тех рассказах, что я Вам прислал?

Между прочим, я прочел в газетах, что Миша Слоним-

ский выпустил роман. Что Ваш роман печатался летом в «Красной», мне сообщали.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

11 февраля 1927.

Брянск, Губстатбюро.

37

23 августа.

Дорогой Корней Иванович.

Позвольте попросить Вас принять эту книжку. Другую, если можно, может быть, Вы не откажетесь передать Ю. Н. Тынянову.

Ваш Л. Добычин.

1930 год (?)

38

19 октября.

Многоуважаемый Корней Иванович.

Мною опять составлено небольшое сочинение: позвольте

мне просить Вас принять этот провинциальный сувенир.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

1931 год

39

7 февраля 1931.

Дорогой Корней Иванович.

Я очень рад, что книжка Вам понравилась. Надписей я не делал, потому что она очень хорошенькая, и мне не хотелось ее портить.

Я хочу прислать Вам два рассказика, написанные после книжки, и перепишу их для Вас, когда будет время, ибо сейчас каждый вечер занят в том промзаведении, в штате которого я состою.

Если можно, я поделюсь с Вами маленькой радостью: сегодня я получил талон на починку сапог. Как Вы здоровы?

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

12 февраля 1931.

Дорогой Корней Иванович, вот эти два рассказика, старательно переписанные для Вас на моей лучшей бумаге. Прочтите, пожалуйста, сначала «Матерьял», а потом «Чай» и, если можно, напишите мне, как они. Который Вам показался лучше?

Если можно, ответьте скорей, напишите что-нибудь про «вообще» – я ничего не знаю здесь.

Морозы нас морозят. У нас градусник «по Цельсию», так что в особенности холодно.

Кланяюсь Вам.

Ваш Л. Д.

М. Л. и И. И. Слонимским

1925 год

41

27 января.

Михаил Леонидович. Я получил от К. И. Чуковского письмо о его отъезде. Два рассказа, которые я раньше послал в «Современник», он рекомендует мне передать Е. Л. Шварцу. Они называются «Козлова» и «Нинон». Я пишу секретарше «Современника» Вере Владимировне Богдановой, чтобы она эти рукописи Шварцу передала (между прочим, они вполне цензурны). Не устроите ли Вы, чтобы Шварц их получил?

Корней Иванович пишет, что рассказы следует поместить в журнале «Ленинград». Я предоставляю их на Ваше усмотрение.

Не можете ли Вы сообщить мне личный адрес Чуковского (петербургский) – он мне нужен потому, что Чуковский предлагает остановиться в его комнате на случай моего приезда в Петербург, а адреса я не знаю.

Ваш Л. Добычин.

Чуковский пишет, что он начал бы «Ерыгина» со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы от волос на песке, в четвертой главе – следы от сена на снеге, оттого и написано: «что-то припомнилось». Не выкидывайте, пожалуйста, первого абзаца.

Л. Добычин.

42

Михаил Леонидович.

Пойдет ли где-нибудь рассказ о Ерыгине?

Я просил Вас взять из «Современника» мои два рассказа.

Получили ли Вы их и пригодились ли они Вам?

Простите, что я опять обращаюсь к Вам с этим. Но мне так трудно было связаться с Петербургом, и теперь, с отъездом Корнея Ивановича, я боюсь опять потерять эту связь.

Л. Добычин.

2 февраля.

Брянск, Губпрофсовет.

10 февраля.

Михаил Леонидович. «Нинон» мне тоже не нравится. Пожалуйста, не печатайте. Очень галантно Ваше упоминание о Гонораре: в «Современнике», например, мне ничего не заплатили, хотя я дважды и не без назойливости требовал.

Если Начальники не пропустят «Ерыгина», мне, увы, по-видимому, больше ничего не придется печатать: то, что я буду писать впредь, будет тоже недостойно одобрения.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет,
Леониду Ивановичу Добычину.

Я прочел книжку, которая называется «Машина Эмери».

Михаил Леонидович.

Когда будет напечатано про Козлову, не откажите прислать мне номер журнала – здесь он не продается.

С «Ерыгиным», по-видимому, ничего не выйдет?

Сегодня я получил от «Современника» деньги за рассказ. Итак, это стоит двадцать один рубль.

Ваш слуга Л. Добычин.
23 февраля 1925 г.

45

5 апреля.

Дорогой М. Л. Попробуем сделать в Ерыгине некоторые перемены.

1. В конце первой главы последнее слово вместо «РК-П(б)» – просто «РКП».

Если и этого мало, то можно: «Начдив уехал, увозя воспоминание о честной беспартийной, спасшей его жизнь».

2. Во второй главе речи иностранцев изобразить так: «Обманутые буржуазной прессой, они никак не ожидали того, что им пришлось увидеть».

3. Конец четвертой главы переделать, начиная с «слушает трели и пьет чай» и пустить так: «...чай. – Товарищ Ленинградов, – оборачивается Гадова, – я больше не могу молчать. – И открывает о епископе. – Вы знали и не доносили, – говорит товарищ Генералов (так!) и его любви как не было. Снова он тверд, как скала, и впредь его уж не завлекут в буржуазные сети».

Если нужно, можно выпустить в третьей главе фразы «шагает рота...» и «расскандалился безработный...», но лучше оставить, без них будет куцо.

Пожалуйста, попробуйте это устроить: может быть, тогда пройдет. Мне кажется, главное дело – в этих местах. Можно еще пропустить, что мать, возвращаясь из клуба, плевалась: но лучше бы оставить (это в четвертой главе).

Ваш Л. Добычин.

46

7 апреля.

Дорогой М. Л. Я послал Вам список реформ, которые прошу сделать в «Ерыгине» для смягчения начальников. Заодно, может быть, Вы не почтете за труд произвести две реформы на предмет улучшения «слога». А именно, вычеркнуть в первом абзаце этой истории последнюю фразу («из-за реки» и т. д.) и в конце первого абзаца второй главы два звукоподражания («Совет репёблик» и «реакшьюн» и т. д.).

Когда о «Ерыгине» выяснится уже окончательно, – пожалуйста, напишите.

Ваш Л. Добычин.

47

8 апреля.

Дорогой М. Л. Я не каждый день буду посылать Вам по письму, а только сегодня, и после этого будет передышка. Секрет вот в чем: если рассказ не пропустят, то, пожалуйста, известите об этом сейчас же, и тогда я попробую его поскорей переделать, чтобы он подоспел к выпуску «Ковша».

Ваш Л. Добычин.

Может быть, Вы укажете тогда и места, которые нужно перестряпать: ведь не все же сплошь обидно начальникам.

48

10 апреля.

Дорогой М. Л. Вот «Ерыгин» переделанный. Пройдет ли? Поскорей бы.

Ваш Л. Добычин.

Кажется, так и «в смысле слога» не хуже. Савкина Вам кланяется. Это особа из моего нового рассказа.

49

24 апреля.

Михаил Леонидович, простите, что я еще раз обращаюсь с этим, но нельзя ли **окончательно** выяснить вопрос о переданном Вам Чуковским рассказе. Если он не пойдет у Вас, то я буду считать себя свободным, чтобы обратиться с ним куда-нибудь в другое место. Если же он пойдет у Вас в **последней** (Получили ли Вы ее? Она послана 10 апреля на множестве осьмушек бумаги) посланной мною Вам «редакции» (первую, переданную Чуковским, прошу считать взятой обратно), то есть одна поправка: в пятом абзаце седьмое слово не «довольный», а «сияющий». Вот и все. Этот вопрос **деловой**, а посему посылаю «марку для ответа».

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

50

24 апреля.

Вот ведь история (сконапель истоар).²⁹ Я послал сегодня Вам письмо и просил, если будете печатать «Ерыгина», исправить «довольный» на «сияющий». Оказывается, «сияющая» есть дальше. Приходится вместо «сияющий» – «улыбающийся».

Это – если будете печатать. Если же не будете, то прошу

²⁹ Вот такая история (фр.).

еще раз меня уведомить: у меня готово про Савкину, и тогда я их пошлю куда-нибудь вместе, чтобы они поддерживали друг друга.

Л. Добычин.

51

2 мая.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Вы очень добры и во всем правы. «Савкину» я пошлю Вам двенадцатого. Заглавия у нее нет, а Захватывающей Фабулы еще меньше, чем в «Ерыгине» и в истории о Кукине, которая была напечатана в «Современнике».

Ваш Л. Добычин.

52

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Вот «Савкина». Она вышла какая-то пустопорожняя. Это потому, что – без политики. Пожалуйста, напишите, годится ли она, чтобы печатать.

Л. Добычин.

11 мая 1925.

53

11 мая.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я должен был послать Вам «Савкину» двенадцатого числа, а послал одиннадцатого – и уже наказан: оказалось, что в первой главе перепутал. Там есть про Гоголя («Чудень Днѣпръ»), дальше написано «Когда стемнело, Савкина», а нужно не «когда стемнело», а «Появилась маленькая белая звезда. Савкина» и т. д.

Если Вы «Савкину» примете, то очень прошу это исправить (и обещаю больше про «Савкину» не писать Вам ни слова. Поверьте).

Ваш Л. Добычин.

На другой стороне есть **ещё**.

Что касается первого или второго «Ерыгина», то – какого удастся.

54

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Посылаю «Козу». Хвастался я, хвастался, а вышло короче воробьиного носа.

Пожалуйста, напишите, годится ли. Что случилось с «Савкиной»? О ней ни слуху ни духу.

Л. Добычин.

13 июня.

Брянск, Губпрофсовет.

55

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Опять послал Вам изделие раньше срока и сегодня сделал в нем разные ужасные открытия. Выбросьте оное: завтра я вышлю другое, которое будет уже как следует.

Л. Добычин.

14 июня 1925.

56

20 июля.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

В верхнем правом углу Вашей последней открытки я нашел, что с дачи Вы напишете подробней. – Жду оного.

Чтобы покончить с «Савкиной», не сообщите ли Вы мне номер, в котором она помещена, – тогда я начну приставать

к конторе.

Я затеваю Сочинение об отъезжающей из города девице – ей приходят в голову разные штуки и прочее.

Когда поеду в Ленинград, выяснится в начале августа.

Как Вы нашли «Козу»? Ее заглавие, между прочим, изобретено в честь мадам Сейфуллиной, которую так хвалят.

Ваш Л. Добычин.

57

8 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Мое путешествие отложено на три-четыре недели: не выгорело с деньгами (в том числе и Савкинскими – я писал на Социалистическую, но сие было тщетно).

Если я скоро начну об отъезжающей девице (ее фамилия – Солоухина), то, может быть, к поездке онаю подготовлю и прибуду с нею в Ленинград, как некоторый Флобер в Париж с «Мадамой». Это будет бестолковая вещь, но приятная, с конторщичком Ваней, пьяницей и Местной Интеллигенцией. В числе украшений – бутылки на окнах, с вишнями и сахарным песком, и, если вместится, – собрание верующих по церковным делам.

Ваня очень мил, а пьяница совершенно приличен и ни ка-

пельки не бесчинствует, так что все будет очень комильфо,³⁰ хотя, конечно, не так, как у Сейфуллиной: она недосягаема.

Это я потому позволяю себе все эти вольности, что Вы однажды предъявили мне анкету. Так это – на вопрос «что вы теперь пишете?»

Ваш Л. Добычин.

Существует ли издательство «Картонный Домик» и действует ли там мосье Кузьмин?

58

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Если не поздно, то вот исправления к «Козе» (Вы когда-то не отказали сделать в «Савкиной» исправление о звезде):

1. Вместо «перед запертой калиткой стоял Петька» – «у запертой калитки дожидался Петька».

2. Вместо «Водили к козлику? – спросила Дудкина» – «Водили к козлику? – интересовалась Дудкина».

3. В конце, где вожатый выпроваживает козла, вместо «Ихний? – спросила Зайцева» – «Ихний? – уставилась Зайцева».

Кроме того, Вы обещали написать С ДАЧИ.

³⁰ Как должно (фр.).

Л. Добычин.

9 августа.

59

10 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Так как в середине августа Вы – в Ленинграде, то, если «Ленинград» еще существует, не велите ли Вы ему послать мне деньги. Очень прошу. Пожалуйста. И т. п.

Есть ли какие-нибудь виды на напечатание «Козы»?

Как бы устроить, чтобы на это письмо получить от Вас ответ?

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

Между прочим, в конце сентября – начале октября или немножко позже адрес (постоянный) будет не «Брянск», а «Ленинград».

60

31 августа.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я буду в Ленинграде с 10 сентября – пять-шесть дней. Так как Вы мне не пишете, будете ли в это время в городе, я зайду на Николаевскую узнать. Если Вы не будете в отъезде, пожалуйста, оставьте для меня указания, когда Вас можно видеть, так как возможно, что я буду приходить всегда в Ваше отсутствие. У меня готово около половины отъезжающей девицы, и, может быть, к поездке удастся ее кончить.

Ваш Л. Добычин.

Если Вы ответите, то до 8 сентября я – в Брянске.

61

31 августа.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я получил Ваше письмо (Ваше почтенное письмо) после того, как отправил свое.

Как хорошо бы, если бы удалось – книжку. Простите, но это совсем не то, что «Ленинград».

Когда я увижу Вас, я расскажу, как одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало «не одно же плохое, есть хорошее».

Много благодарю Вас за весть о Сейфуллиной. Вы угада-

ли: я ее очень люблю. В особенности – за перспективы. Конечно, – и за остальное.

В Ленинград я еду пробовать там остаться. Может быть, ничего и не выйдет. Если ничего не выйдет, то это будет **ОЧЕНЬ ПЛОХО**.

Какого это «Современника» альманахи хотят выходить в Москве?

Уж не того ли, в желтой обложке?

Я у Вас буду спрашивать, что такое – журнал «Россия».

Ваш Л. Добычин.

62

9 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Моя поездка опять отсрочена. Добрые Начальники задерживают меня до октября («пленум губкома и т. п.»). Так как деньги я получаю от Них, то и будет по-Ихнему.

Для Книжки я сделал вот что: приготовил все, что Вы от меня в разное время получали, и сочинил «Сорокину» (она уже не отъезжающая, ибо никуда не едет и не собирается).

«Сорокину», когда перепишу, пошлю Вам и попрошу прочесть, потому что сам я в ней ничего не могу понять и не знаю, может ли быть такой рассказ. Политики в нем ни на грош, есть латинские слова русскими буквами. Там все –

про амурь (это потому, что я люблю Сейфуллину).

В октябре я смогу быть в Ленинграде две недели, потому что Добр. Нач. дают мне за отсрочку лишнюю неделю, и пу- щусь во все тяжкие на предмет окончательного внедрения себя в оный.

Тяжких (см. выше), между прочим, не предвидится вовсе.

Ваш Л. Добычин.

63

16 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Пожалуйста, прочтите отъезжающую и напишите мне про нее: я сам не могу разобрать. Кажется, все украшения ничего себе, но всё вместе – что-то кондитерское, «куаффер³¹ Владислас и Геннадий». Если да, то я ее упраздню, если же нет, то – пусть пускается куда следует.

Ваш Л. Добычин.

64

18 сентября.

³¹ Парикмахер (фр.).

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

По моим расчетам, сегодня Вам принесут отъезжающую. По опыту Вы знаете, что за ней последует поправка. И впрямь: вот она, на маленькой бумажке.

Я придумал лесбический рассказ «Растратчица». Он будет:

а) созвучен Нашей Эпохе,

б) понравится Кузьмину, этому гордецу (если Вы помните, что я Вам про него сообщал).

Этот рассказ будет полон политики, будет парить в ерыгинских сферах, но его пируэты будут цензурны.

Я читал прејскурант книжной лавки «Красной Нови»: там продаются ЧЕТЫРЕ (!!!!) Ваших книги – Господи, сколько же Вам лет, что Вы столько успели?

Убелены ли Вы сединами? Вы требовали от меня разных откровенностей (сколько лет и тому подобное), а я про Вас ничего не знаю.

Ваш Л. Добычин.

65

18 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

«Сорокину», пожалуйста, выбросьте. Я окончательно увидел, что она – гадость, хуже, чем пресловутая «Нинон», ка-

кие бы ПОПРАВКИ к ней ни слать заказными письмами.

Ваш Л. Добычин.

66

26 сентября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович.

Вы мне больше не отвечаете.

Все-таки я постараюсь Вас видеть (я поеду 3 октября).

Л. Добычин.

67

2 октября.

Михаил Леонидович, они меня опять задержали – только сегодня сказали. Бросить их и ехать не могу (потому что нет денег). Отложили до 25-го, и так и придется сделать.

Ваш Л. Добычин.

25-го поеду во всяком случае, потому что деньги тогда будут в руках, и если будут дальнейшие истории, я уеду несмотря ни на что.

Сейчас получил Ваше письмо. Значит – пусть, по крайней мере, я приеду при Вас.

68

3 октября.

Многоуважаемый Михаил Леонидович. Я думаю, что это письмо Вас еще застанет, и посылаю на всякий случай, если уже пора, «Ерыгина» с «Сорокиной». Она подправлена, но все-таки какая-то мерзкая. Но если можно напечатать, то пусть идет, потому что печатаются штучки и похуже.

Вчера я очень рассердился на Добрых Начальников, но уже простил их, потому что это к лучшему – я Вас застану. Только жаль, что уходит время. Может быть, если удастся, я привезу с собой и покажу Вам начало длинного-предлинно-го и хорошего-прехорошего (как стыдно хвастаться – как Вы думаете?).

Ваш Л. Добычин.

69

27 октября.

Дорогой Михаил Леонидович. Вот какие домогательства:

1. Сегодня я справился у Чуковского, в нравах ли про-

сдать денег, когда вам говорят, что «три рассказа» приняты. Он сказал, что удивятся, если не попросишь. Я очень прошу. Если это можно сделать, то, пожалуйста, пришлите мне в брянский адрес по возможности скорей (потому что сегодня я выспался и постараюсь вернуться в Ленинград с наибольшим проворством, дело в деньгах).

2. Я оставил некоторому корреспонденту Ваш адрес для написания по оному письма мне (потому что остальные существующие адреса внушали мне сомнение). Если он был так любезен, что написал это письмо, прошу Вас сохранить оное для меня.

Л. Добычин.

В состоявшемся между Чуковским и мной кратком собеседовании нами были <пропущено слово> Ваши качества. Вот-с.

1926 год

70

23 января.

Михаил Леонидович.

В день своего отъезда я имел тайно от Вас (ибо Вас еще не

было) беседу с Фединым, который намекнул, что сочинение о Блиновой (как она получила открытку с Казанским собором) у вас не пойдет. Нельзя ли выяснить наверное. Если не пойдет, то я бы сделал исправления, которые мне пришли в голову, и послал бы Блинову Альтшулеру – пусть печатает бесплатно – он бедный человек (слышал об этом от Чуковского).

Не заметили ли Вы, был ли напечатан в «Красной» мой XIV съезд, и если да, то произвел ли впечатление на Читателей (Иду Наппельбаум).

С участием думаю о предстоящей годовщине серапионов – осетрина, ветчина, паштет из печенки и прочее (каждый год одно и то же). Если бы я был фигурой более значительной, то представил бы к этому случаю свои поздравления.

Толстеете ли Вы? Нашелся ли жених для кошки?

Разрешите просить Вас передать поклон Мадам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2 (два).

71

...давно прочел, и оказалось, что совсем не гениальная.

Напрасно Вы приписываете Мусе Терапани привет для меня – она меня никогда не видела.

Зощенко здесь нравится девицам. В особенности – как в

лавку пришли с лошадьё, лавочник гонит, а лошадиный хозяин удивляется: только что сидели с ней в пивной, и заведующий даже очень веселился. – Это из книжки «Тяжелые времена». Фамилия главной любительницы – Ольга Пояркова.

Впрочем, она сказала, что была бы очень польщена, если бы к ней зашел (даже!) я (на безрыбье и рак рыба). «Даже» относится не к «зашел», а к «я» и должно обозначать мою скромность.

Один раз вечером я обогнал пять евангелисток и трех евангелистов. Они пели благочестивый интернационал:

«Никто не даст нам избавленья,
Ни меч, ни царь и ни герой.
Дарует нам освобожденье
Один Спаситель наш Святой».

Остального я не слышал.

А как Вы получите котика, раз кошка осталась в девицах?

Продолжение опять на другой стороне.

Я называю Вас по имени и отчеству, потому что Марья Ивановна так называет, а я считал, что она столичное обхождение знает тонко.

Какого цвета было платье без рукавов? Его вид я представляю себе так:

<рисунок>

очень славненькое, с бантиком и кружевцами, для рук –

дырки.

Я здесь уже два раза пил хлебное вино – это бывшее «очищенное» (а еще раньше – «русская горькая»).

В «Красной Ниве» я читал рассказ Федина про бочки: вот теперь я из современной литературы начитан уже не в одном Юркуне.

Если, когда выйдет четвертый «Ковш», мне его пришлют, то буду начитан еще больше (Полонская, Тихонов, Вс. Рождественский, М. Слонимский, К. Федин. В. Андреев и многие другие).

Ольга Пояркова выпросила мой портрет с усами и с бородой (такой я был в марте 1916 г.). Если я буду иметь у нее дальнейшую славу, я напишу.

Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

72

Михаил Леонидович.

Не просите Иду Исаковну, чтобы она напомнила Вам об ответе на мое предыдущее письмо в части, которая касается рассказа про Блинову: я его переделал и послал Лежневу, так что из шкафа в «Ковше» его, пожалуйста, выбросьте.

Мне жаль, что Вы не пишете о том, толстеете ли Вы. Хотелось бы также знать, по-прежнему ли у Иды Исаковны по

утрам болят кости лица. Если она будет добра напомнить Вам об этом написать, я буду очень благодарен.

Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

2 февраля 1926.

73

3 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Теперь, может быть, уже можно спросить, когда выйдет четвертый «Ковш» и попал ли я в него окончательно (Гайк Адонц, Ионов и т. д.).

Пожалуйста, если все это устроилось, сделайте, чтобы мне прислали книжку (я бы просто-напросто купил, но здесь нет) – это имеет для меня очень большое значение (не для славы у Ольги Поярковой и т. д.).

Альтшулер мне не отвечает, будет ли он что-нибудь печатать, да мне у него и не особенно хочется – я видел первый номер, и его тон весьма подхалимский.

Я когда-нибудь напишу два рассказа, которые придумал, – из них один **хороший**, – и тогда обрушу на Вас всё зараз – пять экземпляров: эти два и три альтшулерских, а Альтшулеру, если он к тому времени не исправится, pošлю отказ.

Состоялся ли Ваш пелеринаж³² в Москву? От гордеца Тихонова ни слуху ни духу. Вообще мои акции стоят отменно низко, и улучшения оным не предвижу.

Несколько раз опять пил как хлебное, так и виноградное разных названий вино, но меньше, чем хотелось бы.

В «Красной Нови» видел рецензию на рассказ А. Слонимского «Черныш». Кланяюсь Дамам.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

74

8 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я получил от Альтшулеров это письмо и эти рукописи. Если возможно их куда-нибудь сунуть – пожалуйста, суньте. Мне кажется, секрет в том, чтобы только печатать, а что печатается, – совершенно все равно.

Вместе с этим я получил какое-то глупое письмо от секретаря «Круга», что моя рукопись передана в «Красную Новь», но «А. К. Воронскому не понравилась, а потому в журнале напечатана не будет». При чем тут «Красная Новь», не знаю, вижу только, что с «Кругом» ничего не вышло. Ни с какими

³² Паломничество, путешествие (фр.).

же «А. К.» я дела иметь никогда не собирался.

Пожалуйста, напишите мне возможно скорей, можно ли где-нибудь напечатать эти два пустяка, а еще – про четвертый «Ковш», то есть – печатаются ли там все три рассказа, и когда он выходит. Если рассказы печатаются, очень прошу книжку мне послать.

Скоро я пришлю еще один пустяковый рассказ, но приятный (по-моему), а через месяц или полтора рассказ побольше и действительно хороший (таким он мне кажется, хотя я его еще не начинал; но я уже многое придумал, и оно хорошо).

Если можно печатать, то – скорей бы, пока разные А. К. не сделали так, что меня печатать вовсе перестанут.

Дамам кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Пожалуйста, ответьте.

Брянск МВБ, Привокзальная, 2.

75

9 марта.

Дорогие граждане. Я получил ваше письмо сегодня. А вчера я вам послал письмо с большой начинкой, но мне почему-то кажется, что на адресе я забыл написать номер дома.

То, что было про долговязую девицу, оказывается, будет совсем про другое. Не уезжайте в Париж, а то вам не удастся узнать – про что.

Вот почему парикмахер гадкий: там есть недопустимые грубости, например – будто бы он боялся нищих, потому что они пожалуются Богу. Это совершенно невозможно.

Вы два раза спрашивали, почему я не люблю Михаила Леонидовича. Потому что я люблю Зайцева. Нельзя же любить двоих – это получится, если я не путаю, Давид Копперфильд.

Понимаю потрясение Марьи Ивановны: эта «vie»³³ действительно довольно пронзительная.

Весна в разгаре, как говорится в Сочинениях. Я уже загорел и сделался тощий. А Михаил Леонидович потолстел?

Ольга Пояркова – желтоволосая. Моя слава у нее померкла, потому что я с ней очень грубо обращаюсь. Теперь я славлюсь только у Цукерманши, библиотекариши из «Карла Маркса».

Мне очень скучно. Если требуется выразиться текстом из Евангелия, то «душа моя скорбит смертельно». Сегодня я взял у Цукерманши «Арсена Люпена» и, когда допишу это письмо, буду читать.

Как теперь говорит Михаил Леонидович: «л» или «ль»? Когда у вас опять будут новости, то напишите, пожалуйста. Я напишу когда-нибудь подлинней, а сейчас я – в унынии.

³³ Жизнь (фр.).

Ваш Л. Добычин.

76

14 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сколько всего частей в Вашем романе? Я еще ничего не написал, все придумываю. Я очень поглупел после поездки в Петербург, и мне трудно придумывать. Все-таки, после этих двух рассказов, о которых я трублю, буду и я Писать Роман – через несколько лет.

Я уже прочитал «Арсения Люпена» и, кроме того, «Петера Фосса, похитителя миллионов». «Арсения» я взял у Цукерманши (в «Карле Марксе» течет крыша, и под капли подставлена лохань. Цукерманша держится за голову и говорит: «Ах, как действует на нервы». Ей даны восемь шашечных досок, она должна их выдавать игрокам под залог удостоверений личности – и считает это профанацией), а «Петера» – девчонки у Ольги Поярковой. Скоро они возьмут у нее «Яшмовую трость», а у Цукерманши взять больше нечего, ее книги я все уже читал.

Вчера я видел Зайцева – он тоже очень поглупел, рассказывает только, как он совокупляется с разными красотками и какие у него долги, а еще – что очень много выигрывает в лотерею. Прежде он был гораздо приятней.

Я один раз написал Вам письмо с множеством картинок («Предметы одежды», «Съестное» и «Любовь золотоискателя») и заклеил, и для Мадам вложил вербочку с барашками, но не послал, чтобы Вы не сказали, что это уже СЛШКОМ.

Я с 22 февраля хожу на Временную Службу – по 3 целковых в день. На следующей неделе она, кажется, кончится. Она называется «Райуполтоп». Сам райуполтоп вечно вздыхает. Служба сидит в его доме. Иногда через сени проходит его корова, топоча ногами. Печку топит его сноха. Иногда забегают и шепчутся с ним его жена, свояченица и мальчишки. Чиновников всего трое. Около меня сидит Поперечнюк – с рыжей бородой такого фасона, как у Гаршина на портрете (см. приложения к «Ниве»). Когда вскакивает баба и кричит с порога: «Молока не надо?» – он строго отвечает: «Здесь учреждение».

Он сочинил переложение чего-то, написанного для рояля, для оркестра балалаечников и давал мне взглянуть: ноты там написаны цифрами, очень мило.

Сегодня сломалась мясорубка, и девчонки заставили меня рубить мясо сечкой. Перед этим мне велели молоть кофе. Пришивать кружевца к нижним юбкам меня еще не усаживали. Михаил Леонидович сказал один раз, что я получил женское воспитание (потому что читал «Сонины проказы» и «Лё пуркуа»), но я его получаю только теперь.

Ида Исаковна писала, что **с тех пор** она не напивалась. Я тоже не напиваюсь. У меня припрятана бутылка, и я тяну из

нее глоточками. Получили ли Вы **письмо** с двумя гадкими рассказами, не взятыми Альтшулером, **на котором** я забыл написать адрес?

Если бы Вы меня столько не ругали, я бы писал лучше, а то я теперь пишу не так, как мне полагается, а все думаю угодить ругателям (еще ругались Никитин и ЗОЩЕНКО). Зощенко я особенными буквами написал из почтения, чтобы Михаил Леонидович не сказал, что у меня нет вкуса (есть у Ольги Поярковой). <зачеркнуто три строки> Никитина я даже собрался было что-нибудь прочесть, но у Цукерманши – нету.

Цукерманша спрашивала у меня, что нового в **Духовном Мире**, и я сказал ей, что ничего.

Ваш Л. Добычин.

Еще она спросила, кто считается Восходящей Звездой. А я всегда забывал у Вас спросить, как Вы

1. к О. Генри

2. к Пант. Романову.

Я к 1) плохо, к 2) – ничего себе.

Ольга Пояркова говорит «Сильвестр Боннар» и «Анри де Ренье». Вы все еще не читали «Желаний Жана Сервьяна»?

Вот выписка из предисловия к переводу «Арсена Люпена»:

«Несколько почтенных книг с полки: „Красная лилия“»

Анатолия Франса (Франции?), „Мистерии“ Кнута Гамсуна, „Новые чары“ Соллогуба, „Море“ Келлермана, „Мертвый Брюгге“ Роденбаха. Все прославленные романы. Прибавим сочинения Банга, Стриндберга, Эверта, Анри де Ренье, Меррежковского, Бунина, Андреева и пр. Что это – повести? Нет, ибо там нет повествования; рассказы? – нет, там никто не рассказывает; романы? – нет, какая уж там эпопея. Это нудная лирика, умиление перед „красотами“, фотографические снимки во время каникул, письма к друзьям неврастеника, спермин для слабосильных, – все что угодно, только не повествование. Нужна выдержка профессионала или рабский атавизм интеллигента, чтобы дочитать до конца эти книги. Как понятны живые люди, предпочитающие Шерлока Холмса (среди них В. Резанов)!»

Предисловие подписано: «М. К.» А что за фигура «В. Резанов»?

Если Вы получили альтшулерские рассказы, то, может быть, на днях придет от Вас Письмо.

Мне из Петербурга чаще всех пишет знаете кто? – Корнелий Иванович. И это человек, у которого много детей и даже внуки. Все же он находит время.

Ави зо лектёр.³⁴

Л.Д.

³⁴ К читателю (фр.).

Надеюсь, Вы не найдете в этом письме ничего Дерзкого. Я замазал все сомнительные места.

77

18 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Вы, должно быть, находите, что я пишу Вам слишком часто, но это – ничего.

Весна уже кончилась, несколько дней стоит метель – я общаю, чтобы Вы не позавидовали погоде Брянска МББ.

Вчера после трех часов Поперечнюк заявил райуполтону о решении оставить место. – Я служу три года, – сказал он (я подслушивал за печкой), – и никакой прибавки. – Вы никогда не интересовались делами, – возразил райуполтот: – За три года вы не задали ни одного вопроса. – Не считаю нужным, – с достоинством ответил ему Поперечнюк, – задавать какие-то вопросы. – Тут я перестал подслушивать и отправился.

На улице подкараулил Зайцева. Он был очень мил. – Подожди минутку, – сказал он, – я пойду помою руки: **трогал кожу**. – Оказывается, что он просто-напросто был в лавке и приценивался к сапогам.

В кинематографе идут «Нибелунги». Если бы я попросил Зайцева, он, может быть, со мной пошел бы, но я был страшно горд, и про кинематограф – ни слова.

Сегодня мы празднуем день парижской коммуны, и по

этому поводу я купил за 15 копеек «Рассказы» Федина: оказалась «Тишина» из «Современника», «Сад», не знаю откуда, и «Бочки» из «Красной Нивы». Чтением «Сада» я расширил свое знакомство с современной русской прозой.

Какая образина на обложке. Глядя на нее, я порадовался, что меня никто не хочет издавать – что подумала бы Ида Наппельбаум, если бы увидела меня в таком же виде?

Чтобы покончить с Литературой: – «Илья Садофьев» – не от Семирамидиных ли это идет Садов?

Простите, я забыл поздравить Вас с широкой Масленицей. Поздравляю с постом. Успела ли выйти замуж кошка, а то придется отложить до Красной Горки.

Благодаря метели мне удалось отвильнуть от путешествия к матраснику. Когда-нибудь идти придется, но хоть не сегодня.

И все-таки через полтора месяца откроется Купальный Сезон. Вы читали мои Прозаические Перлы и, возможно, заметили, что сочинитель должен быть усердным купальщиком. Так это и есть. Я даже пользуюсь большой известностью в этом деле. – Я вас знаю, – сказал мне один раз неизвестный молодой человек, – ваша фамилия Добычин. Вы регулярно купаетесь. – Если этого мало, то вот еще: 1) тов. Абрамов из Госстраха, не имеющий счастья меня Лично Знать, беседовал с моим братом обо Мне, как Купальщике, 2) конторщики и девицы с наступлением Сезона говорят мне приветливо: – Ну что, купаетесь? – 3) один пятилетний малют-

ка, когда я спросил, что он видел во сне, сказал: – Как вы купаетесь. – Вот. Вас трудно уверить.

Цукерманша спрашивала, какие в Ленинграде лозунги. Она увесила стены своей библиотеки лозунгами. «Каждый день читай хотя бы по одному часу, и обдумывай прочитанное» и тому подобное.

В пику ей «Центральная библиотека» наклеивает лозунги на окна. В лозунгах «Центральной» заметно упоение **победами**: «Союз молота, серпа и книги победит мир», «Наука – победа религии». Может быть, это – успех работы по Военизации Населения.

Последнее о лозунгах: на базарном ларьке книжной лавки «Тва «Просвещение», основанного Губкомом, Губисполкомом, Губпрофсоветом, Губсоюзом и Губнаробразом», висит лозунг: «Бумага, Наука, Жизнь, Техника, Тетради».

Я не знаю многих выражений. Поперечнюк сказал мне: «Сегодня ночью начистили многих ребят». Я подумал, что это значит обокрали, и спросил: «На вашей улице?» – «На разных, – сказал он, – к дяде на поруки». – «К какому дяде?» – пришлось мне унизиться до вопросов. – «Разве вы не знаете этого выражения? – поторжествовал он. – В исправдом, по делу Свешникова». Свешников – это проворовавшийся бухгалтер.

И подумать, что Поперечнюк уходит и передо мной, можно сказать, гаснет один из очагов просвещения.

Михаил Леонидович, если Вы найдете, что я пишу Вам

чересчур кокетливо, то вот в чем дело: письмо рассчитано также и на Иду Исаковну, а перед Дамами Холостяки в Летах всегда игривы. Обычно это им прощают. Не знаю, как Вы.

Вышли ли афоризмы «Пальцем в грудь» Нельдихена?

Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Когда вы едете в Париж?

В письме Иды Исаковны я прочел, что она «одевала платье» (без рукавов). Я исправил на «надевала».

78

21 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Сегодня я купил на станции второй номер «Новой России» и прочел свой рассказ. Они перепутали строки, и получилась совершенная бессмыслица. Это моя судьба: «Современники» выпустили фразу, прибавили в восьми местах по словечку от себя и одно слово переменили: вместо «утонула» напечатали «утопла», полагая, по-видимому, что так – больше Комизма; «Ленинград» переврал две фразы и сделал 20–30 опечаток: вместо «столб» – «стол», вместо «Венеция э Наполи» – «Венеция Энаполи» и так далее – я не помню. Вот почему мне и хочется Книжку – чтобы все было напечатано как следует.

Райуполтоп призвал меня служить вместо Поперечнюка, и я покамест согласился, хотя оно преневыгодно: но покамест больше ничего не наклеывается.

На получаемые от Райуполтопа деньги мною приобретено множество предметов туалета, парфюмерии и косметики. Поощрена также и виноторговля.

После своего последнего письма я прочитал две книжки Мопассана, книжку Генри и: «Черного пуделя» Р. Хиченса. Обратите на него отменнейшее внимание («Всеобщая библиотека» № 52), это в самом деле превосходно. В «Тюрлюпене» все время видно, как тяжеловесный сочинитель, сопя и кряхтя, мечется, чтобы подать свои неповоротливые тонкости, здесь же – ах!

Если Вам лень читать, может быть, прочтет Мадам.

Альтшулер все-таки галантен: в списке Светил, печатающихся его иждивением, он поместил и меня. Это – мило. Кроме того, его второй номер более независимого стиля, чем первый. Я к нему опять очень благосклонен, тем более что его письмо с отказом от моих, снабженных несомненными достоинствами рукописей составлено весьма любезно и напоминает грушевый компот. Я даже послал его Вам – в том письме, на котором забыл написать адрес.

Выслушайте мои оправдания: я Вам пишу только по праздникам. В этом месяце было много праздников, поэтому столько и писем.

Кланяюсь Дамам.

Ваш Л. Добычин.

При входе в Сквер написано, чего там нельзя делать. Заканчивается так:

«За неисполнение – штраф или принудительных работ».

Я вспомнил Двинск, где на вывесках было: «Табак, сигар и папирос» и «Сыр, сметана и яиц».

Вы больше никогда не будете писать в Брянск (МВБ): пришла Ольга Пояркова!

Я передал Зайцеву поклон Иды Исаковны. Он был необыкновенно доволен.

79

16 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если про Воблину действительно будете печатать, то вот ее новый конец – на маленькой бумажке. А про Лёшку я свои листочки выбросил, потому что это – пустяки. Но если можно печатать, пожалуйста, печатайте – чтобы привыкали к фамилии. Я теперь пишу настоящее. Если оно успеет в осенний «Ковш», то с Лешкой как-то странно печатать.

У меня был небольшой переполох: брат пришел домой и сказал: «Фомин видел где-то ваши три рассказа». Три рассказа – это «Ковш». Я заподозрил, что он уже вышел, и зво-

нил Фомину. Оказалось, что видел не Фомин, а фоминская дочь. Я просил узнать, в чем дело, и на другой день опять звонил. Выяснилось, что фоминская дочь читала объявление о «Ковше» (я не знаком с фоминской дочерью, но среди нее славлюсь).

Лежнев прислал «Россию», денег не прислал, и я у него не спрашиваю.

Как называется Ваш роман и в скольких он частях?

Не заглядывайте на другую страницу – там письмо Иде Исаковне.

Ваш Л. Добычин.

Брянск МББ, Привокзальная, 2.

Видела во сне библиотеку:

Антирелигиозный и военный уголок. Читатели танцуют. Товарищ Митрофанов берет книгу и короткими плевками, как кассир, считающий бумажки, поплеывает себе на пальцы.

– «Александра Федоровна Григорович и младенец Георгий Рудников», – читает он, сжимает губы и задумывается. – Это критика на женщин.

– Надо изъять, – цедит товарищ Компанеец.

Блинова – лицом к двери. В нетерпении она то зажигает, то гасит свой электрический фонарь.

Вбегает Воблина и останавливается. Костлявая, лицо в те-

ни, а белобрысая прическа, задетая закатом, – розовая.

Все подступают к ней и, перешептываясь, смотрят, как она перенесет удар.

80

Дорогая ИДА ИСАКОВНА.

Я не удивлялся, что мне не писали – поделом, мои письма были уж очень разнузданные, и я думал, что со мной вообще больше не будут иметь дела.

Поперечнюка давно уже след простыл, и вообще произошло множество перемен, я уже не помню, какие последние события мною были Вам сообщены, и не знаю, какими новостями мог бы Вас изумить.

Кажется, я не писал Вам, что парикмахер у меня спросил: «Сами броеетесь наиболее?»

Зайцев опять снимался, и 18 числа будет готов его портрет. Возможно, что мне будет поднесён.

Я видел «Доротти Вернон». Она местами была немножко похожа на Вас.

С двадцатью тремя годами Вас – поздравляю. Чем больше лет, тем лучше. С нами в одном доме (в Брянске, МББ) жили Неминущие. Их бабушка (теперь умерла) говорила, что лучшее украшение дому, – это старуха.

Поите Михаила Леонидовича дрожжами и всякими штуками. Ему незачем быть тощим и зеленым – он ведь пишет

не стихи.

Я перестал увлекаться напитками. В каком ряду Вы сидели на «Азефе»?

Я уже давно ничего не читал, кроме нашей (жителей) общей отрады «Правды».

Ваш Л. Добычин.

Что Вы какая-то глупая, – не нахожу.

Недавно видел на заборе надпись: «Кто писал – не знаю, а я, дурак, читаю» и очень обрадовался: повеяло от нее какою-то молодостью и невинностью. Вам нравится?

81

Жалею, что нет сведений об Анне Николавне. Ее обращения с маслом я никогда не забуду.

82

22 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Очень благодарю Вас за письмо. Книжку, должно быть, еще получу.

Это ничего, что на последнем месте. Я очень рад и очень

Вам обязан.

Я тронут тем, что Вы помните мои вкусы (Сейфуллина).
Вы собираетесь ехать купаться, а я уже прокупался на-сквозь.

Ваш Л. Добычин.
Брянск, Губстатбюро.

83

17 июня.

Дорогая Ида Исаковна.

Благодарю Вас за письмо. Да, в губстатбюро я буду очень долго, – может быть, там и ноги протяну. Платья меня очень интересуют, и Вы в этом отношении ошиблись.

Завтра мне стукнет тридцать два года.

Если Вы вывели, что Зайцев несимпатичный, из моих каких-нибудь слов, то я о них очень жалею. Я его очень люблю.

Есть одна вещь, о которой Вы в своем письме не написали – это о Кошке.

После «Доротеи Вернон» я в кинематографе не был ни разу. И нигде не был. Подешевело «Великое – вечное»: было по четвертаку, съехало на пятак (то есть: билеты стали по пятаку, а не: дешевле на пятак).

Кланяюсь Михаилу Леонидовичу. Если мне полагается кланяться Семеновым, то – и им.

Ваш Л. Добычин.

84

20 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Может быть, Вы посмотрите, как теперь выглядит «Лёшка».

Если годится, то не возьмет ли Семенов его в «Звезду» (она не закрыта?)?

Про похороны будет готово <слово зачеркнуто> к осени. Там, наоборот, будет «интересное».

Я читал «На посту»: надеялся на что-нибудь скандальное, а оказалось – скука.

Шлю Вам портрет Сейфуллиной. Сам я к ней теперь совсем равнодушен.

Иссушающие ядра сменились обложными дождями – должно быть, и Вы мокнете в своей деревне.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Л. Добычин.

Интересного в нем ничего нет, он похож – как будто ученик старших классов сочинял по Классическим Образцам, – но зато нет и «политики».

20 июля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я очень рад, что Вам понравилось, а то Вы всё ругались. Чтобы печатать, нужно ли переписать, или можно на тех бу-мажках?

Можно ли под заглавием написать «Зайцеву»? – потому что это и на самом деле – Зайцеву.

Посылаю Вам портрет Федора Гладкова из «На посту»: больше похоже на тов. Крупскую в детстве.

Чем Вам понравилось? Тем, что не похоже, что это я пи-сал?

Лето кончается, а я ничего не сделал. К «Похоронам» с тех пор не прибавил ни строчки. А Вы, должно быть, написали восемь романов.

На сколько аршин Вы потолстели? Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

29 августа.

Дорогой Михаил Леонидович.

Есть ли в этом году какие-нибудь виды на журналы и т. п.?

Я ушиб ногу и т. д. С ногами – эпидемия: мать и сестра тоже поушибали ноги – до того, что их отправили залечивать на Кавказ. А я ушиб только позавчера, так что не знаю, отправят куда-нибудь или сойдет так.

Кланяюсь Иде Исаковне.

Л. Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

87

11 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. История с ногой продолжалась полторы недели. В это время я присматривался к хромым – их очень много, и мужчин, и дамского пола.

Вспомнилась дама в Петербурге, которая, когда у неё калоши новые, присматривается к калошам, когда выдра, – к выдрам.

Представьте: а у нас грибов не было совсем.

Может быть, Вы, если будете писать еще раз, скажете, что было про меня написано в «Печати» (здесь ее больше не выписывают), а что в «Новом Мире», – я посмотрю. Пожалуйста (умоляю).

Цукерманша спрашивает, что выписать в библиотеку, и я сказал: роман «Завоеватели».

Кланяюсь.

Л. Добычин.

Губстатбюро (этот адрес – навсегда).

88

12 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Не пишите мне, что было в «Печати»: я ее тоже нашел. Хорошо, что я из «На посту» знаю, что А. Лежнев – дурак (там это доказано и даже снабжено картинкой), а то бы...

Напечатает ли «Лёшку» добрая «Звезда»?

Я всегда хотел Вам написать и всегда позабывал: правда, приятная писательница Эльза Триоле?

Л. Добычин.

У нас во дворе сбесилась собака и покусала троих мальчишек. Они ходят на прививки. Было очень большое оживление.

Что нового у Вас?

1927 год

89

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте попросить Вас написать мне, можно ли что-нибудь сделать с этими двумя рассказами.

Л. Добычин.

17 января.

Брянск, Губстатбюро.

90

10 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Не рассердитесь на меня за просьбу написать, получили ли Вы мои Рукописи.

Сегодня я понаслаждался замечательною песней «Любо парижанке», исполнявшейся на речке тремя пьяницами:

Любо парижанке

Мужское сердце покорять.

«Лавровых» я на днях вручаю Цукерманше для библиотеки, чтобы Вы славились и здесь.

Я тоже (простите) придумал один Роман, только некогда писать. Если можно, то кланяюсь Вашей жене. Что она шьет к лету?

Л. Добычин.

91

20 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Простите, что я еще раз прошу написать, получили ли Вы мои рукописи.

Мне очень не хотелось бы, чтобы они потерялись, потому что переписывать еще раз навряд ли я когда-нибудь соберусь.

Взять же их у Вас – найдется случай, отсюда иногда ездят в Петербург, и я смогу кого-нибудь попросить зайти за ними.

Я потому пишу про «взять», что с печатаньем – не думаю, чтобы что-нибудь могло выйти. Мне суждены всего два читателя: 1) Вы, 2) Корней Иванович.

Я послал Вам эти две вещи 10 марта.

Не откажите написать мне об их получении. Пожалуйста.

Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

Дорогой Михаил Леонидович.

Можно ли просить у Вас следующей консультации. «Мысль» должна была заплатить мне до 1 августа; до сих пор она ни хрена не заплатила: пора ли уже считать, что она надула, следует ли (нет), если она надула, так ей это и оставить, если уж нет, то что тут делать?

Простите и т. д.

Ваш Л. Добычин.

4 октября. Брянск, Губстатбюро.

Я живу теперь (с прошлой среды) на новой квартире, где есть место для сочинения романа, и собираюсь оный сочинить. Кланяюсь.

(Первая половина октября.)

Дорогой Михаил Леонидович.

Мне очень не хочется Вам докучать, но больше мне спросить не у кого. Вот в чем дело: «Мысль» должна была заплатить мне до **первого августа**. Она не платит и не отвечает

на запросы. У меня на руках есть договор. Могу ли я что-нибудь (что именно) предпринять для ее вразумления?

Хотя я и не писатель, но раз дело идет о книжке, я мог бы поступить так, как в таких случаях поступают Писатели, – но что они проделывают, черт их знает.

Пожалуйста, простите, что я не оставляю Вас в покое. Если Вы захотите не ответить, то не отвечайте – я про это спрашивать больше не буду.

Один раз я вкусил нечто вроде славы: на улице ко мне подошел человек и сказал: – Вы, кажется, являетесь автором одной из книг.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Завальская, 49 (я в отпуску и не хожу в бюро).

94

Дорогой Михаил Леонидович, благодарю Вас за письмо. Писать я ничего не пишу.

Что касается книжки, то в ней 60 опечаток и за нее до сих пор не платят. О ней отзывались, что она нелогично составлена.

Позавчера мне пришлось закрыть свой Купальный Сезон: помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

16 октября.

Если Вы прочтете надписи на конверте, то узнаете, что Вы атрымальник.³⁵

95

16 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович, Вы пишете, что я чем-то горжусь, – а чем мне гордиться?

Благодарю Вас за Сметанича. Я никогда бы не позволил себе просить Вас собственноручно приводить его в порядок: я думал, Вы напишете, через какой **Участок** можно заставить его платить.

Готовность «Издательства писателей» меня печатать в высшей степени любезна. Через несколько лет я смогу ею воспользоваться.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Завальская, 49.

³⁵ Получатель (белорус., конверт отпечатан в Белоруссии).

30 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович, Вы очень добры. 24 ноября «Мысль» прислала телеграмму: «Завтра высылаем телеграфом». Но прислать денег так и не прислала. Я подожду неделю, и если ничего не будет, то сделаю, как Вы написали. Спасибо.

Л. Добычин.

Из газет я знаю о множестве написанных Вами романов и рассказов («Средний проспект», «Северный вокзал»).

Дорогой Михаил Леонидович.

К сожалению, недельная отсрочка этой кляузы оказалась ни к чему и недоброкачественный Сметанич не опомнился.

Я думаю, он рассуждает, что молодой человек и так облагодетельствован и должен чувствовать. Но тогда так и нужно было уговариваться с самого начала.

Я жалею, что не получил от него денег к отпуску, потому что смог бы съездить в Ленинград и еще раз воспользоваться

Вашиими советами и насладиться лицемерием Дам.

Ваш Л. Добычин.

Губстатбюро. 8 декабря.

Если Вас не затруднит, не откажите уведомить о получении этого письма.

98

18 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за письмо и за мероприятия. Приятно, что Сметанич им сочувствует – теперь его опять можно считать Человеком Добродетели.

Не говорил он Вам, расходится ли книжка?

Чем больше я читаю, тем больше узнаю о Вас. Последнее известие – что Вы кончаете «Фому» и составляете рассказы про Париж.

Я живу все там же, на Завальской, но все это уже переименовано: Завальская – в Октябрьскую, а 49 – в 47. Лучше всего – писать в Губстатбюро.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

26 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Еще раз благодарю Вас за принятие мер. Они уже подействовали, и зарвавшиеся хоззяйчики раскошелились.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

1928 год

26 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если можно, позвольте попросить Вас вот о чем: написать, когда Вы в этом году уедете на лето и когда вернетесь с оного.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Губстатбюро.

9 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Я не знаю, когда я приеду. Вот – на Ваш первый вопрос.

А на второй: романа не написал, но теперь (недавно начал) пишу. Но если будет хорошая погода, – брошу. Ничего нет, что побуждало бы писать, а время (даже уже Средний Возраст) уходит. Деньги это дает совершенно ничтожные, а шуму – больше бывает, когда лягушка в воду прыгнет.

Скоро год, как вышла Сметаничева книжка, а о ней нигде ни разу не упомянули, даже к новобуржуазной литературе не причислили.

Я для того и про Альтшулера расспрашиваю, чтобы попросить его по знакомству похвалить – и потом при случае девушкам показывать.

Благодарю Иду Исаковну за поклон и сам ей кланяюсь. Чаще писать – решался бы, если бы и Вы писали.

Ваш Л. Добычин.

28 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если я напишу к осени первую часть, то по Вашем возвращении с вод буду просить Вас попробовать поместить ее в «Звезде» (если так бывает, чтобы печатать одну часть; хотя не обязательно сообщать, что это – просто Часть). Я ее пишу часто, но выходит очень мало.

Между прочим, в этом романе – щиплют корпию.

Благодарю Вас за письмо и кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

103

8 мая.

Дорогой Михаил Леонидович. Цукерманша требует немедленно «Средний Проспект». Когда Вы поедете на курорт? У меня дела очень гадки. От времени до времени все-таки приходит в голову роман. Он страшно хороший, и если мне удастся его написать, то, может быть, в нем выйдет столько Печатных Листов, что его согласятся напечатать.

На базаре у нас есть два картонных автомобиля, в которых можно сниматься (2 карточки – 60 копеек). Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Сегодня я буду смотреть «По Европе».

12 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Роман, который Вы велели, пишется. Готово 700 слов.

В Ленинград ехать придется, когда здесь выгонят, к чему идет, ибо нашего брата норовят заменить молодыми людьми из совпартшкол и т. п.

Осенью, если позволите, пошлю Вам на рассмотрение то, что к тому времени будет готово.

Разрешите принести Вам поздравления по поводу переезда в Сестрорецк.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

12 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Если Вы дома, я пришлю Вам свое «начало». Печатать его ни в каких «Звездах» не придется, потому что всего одна глава, но Вы, может быть, прочтете.

Роман этот будет аховский и, возможно, к моей смерти

будет кончен (потому что я пишу по воскресеньям – и не каждое воскресенье).

В 10 номере «Поста» было сообщено, что «ленинградский писатель Мих. Слонимский выехал за границу». Я понял так, что это – Вы, почему и терзаюсь сомнениями (см. 4 строку сверху).³⁶

Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

В этот адрес не полагается писать открыток.

106

1 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович. К сожалению, я Вам ничего не могу послать, так как, не получая от Вас ответа, подверг это сочинение другой экспертизе, которая его забраковала, и я его выкинул.

За Ваше пребывание в Крыму я видел множество Ваших портретов и разных сообщений о Ваших па зэ жест.³⁷ Вы в славе. Больше месяца я спрашиваю у библиотечарши «Средний Проспект», но он все в расходе.

Вчера вечером я наслаждался «Западниками». Действи-

³⁶ В письме четвертая строка сверху «Если Вы дома...»

³⁷ Похождения, поступочки (фр., с оттенком богомного, художнического арга).

тельно, в Ленинграде и темно и постно.

Если Федин в самом деле сказал немцам такую штуку, то он очень любезен.

Ваш Л. Добычин.

107

21 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович.

Экспертиза была вполне права. «Было, было, – писала она, – а видно, что ничего не было». Поэтому с моей стороны было очень мило, что я поскорее отправил все это к свиньям.

«Среднего Проспекта» я так и не добился. Где-то я читал, что Вы платите в нем дань моде на жуликов. Что это за мода? Если бы я знал, то принял бы и себе к руководству.

Мне представляется, что в Петербурге должно быть скучно (Вам).

Приходит Зощенко и говорит, что «мы опять сдали позиции», как мне один раз довелось слышать. И прочее.

А мне очень наскучило ни с кем не разговаривать. «Не могу молчать», как выразился наш с Вами кумир Лев Николаевич. – Простите.

Ваш Л. Добычин.

1929 год

108

8 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Вот что я еще узнал про Вас: что Вы были секретарем у Гржебина, что Вы писали «Литературные Салоны» и что Вы переводили с сокращениями «1793 год».

К осени я должен буду опять ехать в Ленинград: Брянск упраздняется, и я не знаю, дотянет ли до 1 октября. До своего приезда я пошлю «рукопись» – еще не знаю когда.

Кланяюсь Вам, Вашей жене и Всем.

Л. Добычин.

109

1 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. На это письмо я Вас попрошу ответить.

Брянск ликвидируется между 1 июля и 1 октября. Может быть, – 1 июля, может быть, – 1 октября. Стоит ли мне ехать в Ленинград, то есть могу ли я там быть допущенным к ка-

кому-нибудь Пирогу **неканцелярскому** – с моей известностью Молоденького Сочинителя, **единственное упоминание** о котором можно видеть в интервью тов. Федина дан ли етранже?³⁸

Л. Добычин.

110

13 апреля.

Дорогой Михаил Леонидович. Очень благодарю Вас за ответ. Я, конечно, не сумею сочинять остроты, но делать что-нибудь более простенькое смогу. В общем, насколько я не ошибаюсь, приехать возможно. Если да, то и хорошо. Более подробно говорить, я думаю, еще не стоит, потому что вся эта история еще впереди и не имеет точных сроков.

Рукопись я вышло обязательно отсюда. Она, по-видимому, будет ничего себе.

Почему Вы всегда пишете о Презируемых писателях? Я это отношу на счет иронии, похвалы которой радовали меня при чтении рецензий о «Лавровых».

Кстати, Вы мне не ответили о жуликах. Я все же решил не отставать, и в составляемом мною сочинении будет о них.

Кланяюсь.

³⁸ За границей (испорч. фр.).

Ваш Л. Добычин.

111

4 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте поздравить Вас с религиозным праздником Пасхи.

В начале октября я буду иметь честь приветствовать Вас устно. Это выяснилось.

В пику религии, мы не празднуем сегодня и послезавтра и прибавляем эти дни к декретным отпускам. А вы что делаете?

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

112

16 мая.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сочинение это я до октября вышлю. От Каверина я действительно получил письмо – чтобы послать цикл рассказов вроде «Встреч с Лиз» для сборника, в котором будут следу-

ющие новаторы: Тихонов, Заболоцкий и Олеша. А я – тоже новатор. Это очень мило, и я на всякий случай даже сохранил – показать кому-нибудь. Только – некому.

У нас внезапно наступило лето, и я уже пять раз купался и один раз Внимал Соловью – случайно, проходя мимо. Сады с оркестрами и эстрадами открылись (состоялось открытие), одного гуляющего зарезали впотьмах, а в Бежице (девять верст от нас) двоих повесили: интеллигентские течения среди молодежи.

Какая-то мадам прислала мне письмо, что Бабель – это кружевной гипюр (не то кремовый гипюр, я забыл), а я – лес в инее при луне и должен обязательно познакомиться с Бабелем, а кроме того – я вроде Петера Альтенберга (а я не знаю, что это еще за Петер).

Вам (простите, я с сохранением дистанций) присылают письма мадамы?

Кланяюсь. Простите, что так длинно.

Л. Добычин.

113

20 июня.

Дорогой Михаил Леонидович.

Сочинение свое я стараюсь сочинить наилучшим образом, так что вдруг до Вашего выбытия оно не успеет: что

прикажете делать тогда – отправлять его в Ваше отсутствие или отложить и привезти с собой в чемодане?

Мне немножко страшно с Вами встретиться: вдруг Вы заведи за это время Усы и Бороду.

Я пишу это письмо под аккомпанемент рассказов в соседней комнате мадамою, прибывшею из Ленинграда, об Ужасах оного (нет бельевой мануфактуры и прочее).

Про Институт истории искусств Вы действительно писали, но так как из Института этого ничего не вытекает, то я и присовокуплял это сведение к запасу других безразличных (Бог – в трех лицах, земля вертится и прочее).

Кланяюсь Вашей жене. Существуют ли еще шахматы?

Ваш Л. Добычин.

Насколько, между прочим, велики Ужасы и есть ли оные?

114

17 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович. Я не знаю, как изобразить эту улицу. Может быть, **Москвы** написать прописью.

Идея этой улицы та, что она была просто Московская, но ее переименовали по случаю революции. Никакие объяснения в текст не умещаются, и я решил оставить так.

Я попрошу Вас приписать под заглавием «Посвящение»:

«Г. Л. Рысюкову». Я не люблю фамилиенбадов³⁹ и долго колебался на этот счет, но по разным причинам должен это посвящение сделать.

Спасибо за то, что Вы меня похвалили. Теперь я больше не думаю об этом рассказе (потому что он самый выверенный из всего, что я делал, а мне его до Вас чрезвычайно неприятным образом ругали), и у меня голова свободна.

Я ничего не могу иметь против человека, которого никогда не видал (это я про Каверина), и никогда никому не сказал бы о нем ничего сомнительного. Я не считаю, что у меня (мяса) что-нибудь произошло с ним – мясом. Столкновение было только между бумажками. Я старая канцелярская крыса и привык к тому, что на «бумагу» должен быть сделан ответ.

Давайте отдадим это в альманах с новаторами: выгоды Вы мне уже изобразили, а в «Звезду» какого бы то ни было рода мне все равно навряд ли попасть.

Только, пожалуйста, отдайте Ваш экземпляр, потому что каверинский – неокончательный, и в нем есть плохие места.

Что значит «ИПП»?

Спасибо еще раз за Ваше письмо. Мне от него гораздо лучше сделалось, чем до сих пор было.

Л. Добычин.

³⁹ Семейная баня (нем.).

22 ноября.

Дорогой Михаил Леонидович.

С 1 декабря изменится мой адрес, поэтому, если у Вас будут для меня какие-либо сообщения, то будьте добры по-временить с ними до уведомления.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

1930 год

21 мая.

Дорогая Ида Исаковна, перед отъездом я отвел время, чтобы зайти к Вам, но меня сбило похищение неизвестными злоумышленниками в парикмахерской моей шапки, вследствие которого припасенное на заезд к Вам время ухлопалось на покупку новой шапки. От учтивостей позвольте перейти к просьбам. Вот в чем дело: попросите, если можно, Зою Александровну сказать Вам, когда это выяснится, берет ли Госиздат мою книжку в ТВЁРДЫЙ СЧЁТ, и, тоже если

можно, напишите мне про это в Брянск (Октябрьская, 47). Я потому дерзаю насчет этого, что Вы меня приучили к Родительскому Отношению, благодаря чему я и обнаглел. Бумажечку эту и конвертик я купил в ларьке Моссельпрома и прошу Вас по их плохому качеству не судить о качествах и составителя сего письма.

Ваш Л. Добычин.

От Службы – я уже знаю, что Вы отказались. Накануне отъезда я видел МАТЬ МУСИ АЛОНКИНОЙ.

117

31 мая.

Дорогая Ида Исаковна, благодарю Вас за письмо. Вы мне одна ответили. Я писал Шварцу, но он не ответил. Приключения мои здесь вот какие. Я пошел в «Брянский рабочий» и сшантажировал его на посылку меня в три колхоза. Там я очень позабавился и написал забавную вещицу, но она, конечно, не пошла, и я остался и не солоно хлебавши, и в долгу на 30 целковых за аванс. Литературная карьера кончилась, и завтра я иду на биржу – искать шансов в других сферах.

В. Каверин был последним из знакомых, которых я видел перед отъездом: он попался мне на Театральной улице, когда я отвозил на станцию багаж. Он произвел очень здоровень-

кое впечатление (то есть впечатление очень здоровенького молодого человека). Вероятно, это и останется от него последним впечатлением, ибо новые встречи крайне мало вероятны.

Если Вам когда-нибудь попадутся «Желания Жана Сервьяна», – пожалуйста, прочтите. Когда прочтете, то узнаете, почему я об этом просил.

В письме к Михаилу Леонидовичу, пожалуйста, кланяйтесь ему от меня.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

118

1 июня.

Дорогая Ида Исаковна, это совершенно ужасно, но вот еще письмо. Это – совещание о названии книжки (моей). Тынянов сочинил название «Пожалуйста», и Олянский к этому отнесся благосклонно. Но мне оно не нравится. Если уж название на «п», то я назвал бы ПУАНКАРЕ (есть такое место в книжке: Пуанкаре, получи по харе). Одобряете ли Вы такое переименование? Если да, то можно ли выяснить через Зою Александровну, пройдет ли этот номер и нужно ли мне об этом писать в издательство особое письмо? Я потому не качусь с этим прямо в издательство, а **ДЕЙСТВУЮ**, как го-

ворится, ЧЕРЕЗ ЖЕНЩИН, что издательство скорей всего мне просто не ответит, и мое РАБОЧЕЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО останется втуне.

Эти чернила мне и самому страшно не нравятся, и к следующему письму я постараюсь припасти другие.

Сегодня продолжалась моя биография: я ходил в кое-какие канцелярии, главные начальники уехали в Смоленск, а начальники второй руки открыли радужные перспективы: ДОЛЖНОСТЯ ИМЕЮТСЯ. В течение недели я, возможно, буду уж при чине, и ко мне вернется уважение от людей.

Я прочел уже 54 страницы «Мангеттена», но интереса еще не почувствовал. Удручает КРАСОТА эпитетов: ВИННАЯ заря, ЗВЕЗДНЫЕ НАРЦИССЫ и тому подобное.

Уезжая из Ленинграда, я оставил ШАМБР ГАРНИ⁴⁰ за собой, и хотя уже ясно, что незачем, но еще как-то жалко отказываться. Завтра, должно быть, сделаю сей шаг (то есть письмо Шаплыгиной).

Немудрено, что формалисты восторгаются той пьесой, про которую Вы говорили: я похвалил при них Тагерию, так они подняли такое тьяканье, какого я никогда еще не слышал. Даже Лидия Тынянова протявкала что-то. Отсюда видно, что у них – мозги набекрень.

Дальше в лес – больше дров: последних строк, кажется, совершенно уж невозможно разобрать.

⁴⁰ Меблированные комнаты (фр.).

4 июня.

Дорогая Ида Исаковна. Не будем подымать шума из-за заглавия. Попросим только мадам Зою, если можно, присмотреть немного за обложкой. Обложку мне хотелось бы такую, как у Тагерши:

а) белую,

б) с такими же буквами и посаженными на таком же месте,

в) если расщедрятся на виньетку, то – такого же размера, как у Тагерши, в таком же (кажется) овале и следующего содержания: жалкая гостиная (без людей).

Клянусь прахом тов. Ленина, что больше не буду докучать Вам своими притязаниями и домогательствами. Это все оттого, что я еще не при деле. Высокие начальники прикатят из Смоленска послезавтра, и тогда я угомонюсь.

Я дочитал про Мангаттан и ничего не могу сказать – ни хорошо, ни плохо, обыкновенно. Не знаю, о чем шум. Когда-то Варковицкая (Л.Николаевна) писала мне, что если я пушусь на сочинение романа, то «она уверена, что это будет в плане Мангаттана». А я даже и не разобрал, что там за план.

Не буду писать дальше, потому что у Вас сломаются глаза над этими заслоняющими друг друга строчками с той стороны листа и с этой.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

120

11 июня.

Дорогой Михаил Леонидович (ибо Вы, по предположениям, должны уже прибыть). В Ваше отсутствие у меня происходило крайнее оживление на фронте переписки с Идой Исаковной. В частности, я совещался с И.И. по вопросу о названии книжки. В конце концов я думаю, что не назвать ли ее скромно «Хиромантией». Если Вы одобрите, то я (если нужно) пошлю об этом письмо Алянскому.

Я прибыл сюда в разгар весеннего сезона и кипения страстей. У нас в саду (при доме) несколько дней жил соловей. Гремело происшествие с летчиком. Познавая вблизи города одну свою знакомую, он Вошел к Ней и не смог выйти. Утром их нашел пастух и побежал за скорой помощью. Чего люди собрались смотреть. Участники события были женаты – не друг на друге, а на третьих лицах. Разыгрались Жизненные Драмы. Через четыре дня дама умерла. Потом почувствовала в себе сильную игру страстей одна служащая губсуда, по имени Федора. У нес туберкулез в одной ноге, и она ходит с костылями. Она стала проявлять чертовскую игривость, делать соблазнительные жесты пальцами. Некоторые

из судейских вошли к ней. Поощренная, она не знала удержу. Местком повел переговоры с психиатрической лечебницей. Решили поместить туда Федору на излечение. Заманили ее приглашением на пикник. С веселостями ехали на извозчике. Федора пела эротические песни и делала прохожим эротические Жесты Пальцами. Расположились на лужайке за психиатрической и, напоив Федору водкой, сдали ее пьяную в больницу. Мать вытребовала ее, и, оскорбленная, она теперь расхаживает по РКИ и профсоветам и подает жалобы. Много и других историй произошло с участием Любви.

Я писал уже Иде Исаковне, что мне удалось побывать в колхозах. Против станции было гороховое поле. Посреди гороха были расставлены – на ножках – корытца с патокой для привлечения бабочек и отвлечения их от гороха. В горохе же стояли крест и шест с красной звездой – под крестом закопаны 500 деникинцев, а под шестом – 2000 красноармейцев. В райисполкоме я получал лошадей. Приходили раскулаченные и просили, чтобы им выдали корову. – Подавайте заявление, – говорила секретарша и подмигивала мне на них. – Какие у хозяйства должны быть признаки, чтобы получить обратно часть скота? – спрашивали они канцелярским слогом. – Этого вам не нужно знать, – говорила секретарша, – достаточно, что председатель сельсовета знает. – И опять подмигивала мне: – Захотели, чтобы им сказали признаки! – Явилась председательница сельсовета в армяке и туфлях: – Можно взять у Батюшки дом, который он отдает даром под

ясли? – Нельзя, – не разрешила секретарша. – Что это за подачки от попов? – А председательнице все-таки хотелось получить поповский дом. – Заведующая яслями говорила, это можно, – мялась она. – Заведующая яслями не знает Линии, – сказала секретарша. – Что она прошла? – двухнедельные курсы, только и всего.

Председателя колхоза не оказалось дома. У него в избе ползали по земляному полу дети с выпачканными чем-то черным физиономиями. На нарах, черными подошвами вперед, валялись две босые бабы. – Опять нагадила, – вскочила председательша и, подскочив к девчонке, привела в порядок пол, насыпав на него земли. – Идите в сельсовет, – сказала она, – председатель там на пленуме.

На сельсоветском пленуме, когда я пришел, обсуждались четыре акта ревизионной комиссии при каком-то, я не разобрал, уполномоченном. Все акты – одной и той же ревизии. По одному недоставало 126 рублей, по другому – 104, по третьему – 93, по четвертому – 52 рубля. – Это колыбель для воспитания растратчиков, – воскликнул председатель сельсовета и ударил себя в грудь. – Да он все говорил: постойте, я найду какие-нибудь документки, – оправдывалась председательница ревизионной комиссии, учительница.

О Населении я узнал, что с начала уборки до зимы оно не моется (не моет лица, рук и ног; остальные принадлежности вообще никогда не моются, ибо бань нет), потому что нет расчета – все равно опять запачкаешься. Вечером я ви-

дел поэтическую сцену на завалинке: молодые люди собрались над книжкой – Лермонтов с картинками. – Калашников, – рассказывал хозяин книги, – вызвал его на кулачную дуэль, и царь велел его повесить. Вот стоит палач с ножом, а он прощается с своими братьями: здоровые они какие, здоровей его. – Охота тебе, – проходя, остановилась учительница, неудачная председательница ревизионной комиссии, – читать! – Кому ж и читать, если не мне? – ответил он. В избе трещали два сверчка и хрюкали подсвинки.

Один колхоз мне подвернулся кулацкий. Дома были с деревянными полами, крыши – не соломенные, председатель с страшно тонким обхождением. – Вот наша культура, – вводя меня в дом. Все было очень чисто вымыто – под Вознесенье. – И хотят нас поравнять с этими дикарями. Как, скажите, – с интересом спросил он, – дальнейшая политика будет к развитию колхозов или к прекращению? – К развитию, – степенно ответил я, и он взмахнул рукой: – Довольно! Больше ничего не надо! – Отвозил меня молоденький колхозник. – Мы одни по всему сельсовету не разбежались из колхоза, – сообщил он: – нам спокойнее в колхозе: восьмерых у нас хотели раскулачивать, едва отстали.

Много и другого поучительного было, так что, если бы все описать (как кончается Евангелие Иоанна), то весь мир не мог бы вместить этих книг.

Вниманию Иды Исаковны позвольте предложить случай (это уже – в городе) с одной девицей, которая потеряла, где

зад ее платья и где перед, и никак не может найти.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

121

25 июня.

Дорогая Ида Исаковна.

На Ваш запрос сообщаю, что из известных Вам лиц хорошо отношусь к нижеследующим:

1. Коле,
2. Шварцу,
3. Тагерию,
4. Эрлиху.

Не затрудняйте, пожалуйста, Михаила Леонидовича ответом на мой вопрос о заглавии, так как я уже послал Внутрь гостиного двора свое окончательное заглавие.

С Веней Кавериным я галантен совершенно достаточно, так что будто я его обижаю – это Ваши придирки.

Пишу Вам сегодня короче обыкновенного, потому что Калал Белье, стало поздно, и тороплюсь, чтобы не пропустить купальный сеанс.

Кланяюсь.

Л. Добычин.

1 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. У Вас сделался совершенно новый почерк, и из Вашего письма я разобрал только три места:

1. Ужас «Брянского рабочего».
2. Попреки страстью к а) Коле и б) Эрлиху, которые, действительно, очень милы.

Вчера я получил письмо от Шварца – он просил Вам кланяться.

Ваш Л. Добычин.

В конце у Вас я разобрал еще, что «если будете писать, то буду отвечать», и это место показалось мне исполненным а) гордости и б) кокетерии.⁴¹

Цукерманша получила из Смоленска вызов на соревнование – три пункта приняла, три отклонила и в один внесла поправки. Кланяюсь Иде Исаковне.

⁴¹ Кокетство (фр.).

6 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Начинается в 1918 году, а кончается сегодня. Я тогда одно лето был УЧИТЕЛЕМ на «курсах для переэкзаменовочников», изобретенных «культуркомиссией ст. Брянск р.-о. ж.д.». Один переэкзаменовочник назывался «Сенька Борщинский», и ему было 14 лет. После этого я его один раз встретил в поезде. Он тогда был милиционером. Никаких вольностей, все было как по маслу.

Трах-тарарах, вдруг сегодня я столкнулся с ним на лестнице.

С.Б. (*восклицает*): Ну, как?

Я: Ничего (*пробую пройти*).

С.Б.: Ты, говорят, взял новую профессию (*НА ТЫ, как выразилась персонажуха в «Сельской идиллии»!*).

Я (*изумляясь*): Это что ж такое?

С.Б.: Сочиняешь, говорят.

Я: А! (*пробую пройти*).

С.Б.: Я твой один стишок читал в журнальчике.

Я: Скажите (*пробую и проч.*).

С.Б.: Хорошо ты пишешь. Только трудно. Еле хватило терпения дочитать.

Я: Ну, ладно (*делаю обходное движение и прохожу*). До свиданья.

С.Б.: Мое почтение.

Хек фабула доцет,⁴² что печатанье рассказиков развязывает бывших переэкзаменовочников и бывших милиционеров.

– «К кому вы хорошо относитесь?» – как говорит Ида Исакковна.

Позапозавчера я наслаждался американскою комедией «Шумные соседи». Кроме того, я насладился на этой неделе чтением Колиной книжки для детей двух возрастов (среднего и старшего) «Навстречу гибели». Он очень мило пишет, хотя Вы к нему и придираетесь. Кроме того, на этой же неделе мне посчастливилось насчет конфет (в том числе – с изображением коровы). И, наоборот, не везет с погодой.

Я научился ловить шапку, брошенную вверх. Если мы еще встретимся, то покажу Вам.

Цукерманша вечером ведет работу на воздухе: приносит в сад Карла Маркса несколько отборных книг, завернутых в красную мануфактуру, и, раскинув мануфактуру по столу, раскладывает на ней книги: желающие могут почитать под фонарем, пока другие смотрят «Дину Дзадзу» и пленяют дам. В залог берется профсоюзный билет.

Одна старуха сообщала, что Иностранные Державы требуют, чтобы их допустили на 16 съезд, а если не допустят, то они съезда ни за что не разрешат.

«Гостеатр» переименован в «Рабочий театр».

Кланяюсь.

⁴² Мораль сей басни такова (лат.).

Ваш Л. Добычин.

124

8 июля.

Дорогой Михаил Леонидович, это совершенно безобразно, но я опять с названием. Как было бы, если назвать «Портрет»? Я это хотел с самого начала, но **:КОЛЯ:** не одобрил. Если Вы одобрите, то будете иметь случай не согласиться с Колей.

Мне название очень интересно, потому что, может быть, это собрание сочинений и последнее, а снявши голову – по волосам не плачут, как говорилось в деревнях до расслоения ОНЫХ.

Если Вы одобрите «Портрет», то, может быть, велите сами ввести его в действие, я боюсь опять соваться внутрь Гостиного – там в высшей степени шикарно и едят пирожные. Кроме того – хотелось бы, чтобы обложка была не заливчатая и не РАБОТЫ ЗАРЗАР.

О, простите, о, простите, о, простите. Я как молодые люди, которые хотят, чтобы Вы им написали предисловие. Но сознание – путь к исправлению.

Цукерманше нагорело за неизъятие резолюций 16-ой партконференции, которые теперь не в моде.

Ваш Л. Добычин.

Засекретилась ли Ида Исаковна?

125

19 июля.

Дорогой Михаил Леонидович, я очень рад, что «Портрет» апробован. «Портрет», конечно, хорошо, хотя и нелояльно по отношению к Коле Чукъ <Чуковскому>.

Я это письмо пишу и ужасаюсь: вдруг Вы уже на Каме, и письмо лежит на улице Марата, а Вы —

— Су ле Жемо у ль Амфор,⁴³ —

как выразился стихотворец.

Рекомендованную Идой Исаковной книжку с картинками я приобрету, как только она здесь появится. Стихов же о купце читать не хочется, как они ни выдержаны.

Ваше письмо со штемпелем четырнадцатого пришло вместо шестнадцатого – восемнадцатого, и так как каждое явление имеет свой смысл, посмотрите, пожалуйста, на который день получите Вы сие.

Нравятся ли Вам фамилии следующих трех врачей Окрздрава:

⁴³ Под созвездием Близнецов или Амфоры (фр.).

- а) доктор Мальчик,
- б) доктор Водонос,
- в) доктор Барышник.

Я узнал недавно, что от работников прилавка на чистке требуется знание мясной и зерновой проблем, без коего они не смогут дать отпора потребительским настроениям покупателей.

Относительно «Портрета», между прочим, я решился написать Зое Никитиной – туда, в приют этих пышных богачей,

– пур ки, —

– как выразился стихотворец,

– ле монд визибль эгзист.⁴⁴

Надеюсь, что картинки к Вашей книжке делала не Зарзар.

Когда Алянский будет видеть, что уже можно выслать остальные деньги, – пусть вышлет. На них будут закуплены картошка и дрова.

Ваш Л. Добычин.

⁴⁴ Для кого существует видимый мир (фр.).

13 августа.

Дорогая Ида Исаковна. Элисо к нам больше не показывала носа, и покамест я отсмотрел «Коллежский регистратор», «Торговцы славой» и «Последний бек».

Мне страшно лестно получать письма, сделанные на машинке, – это имеет очень деловой и интересный вид.

Кому на время Вашего отъезда был поручен Кот? Я ужасно виноват – только вчера подумал о нем.

Вы писали, что у нас всегда что-то случается, – а только и случается, что дождь то перестанет идти, то опять пойдет.

Моя сестра вчера была на чистке. Было так:

Председатель: Расскажите вашу биографию.

Она: Мой отец был врач. Он умер, когда мне было полтора месяца.

Председатель: Как вы справляетесь с своей работой?

Она: Через несколько месяцев мне прибавили прибавку. Если бы не справлялась, то бы не прибавили.

Посторонняя женщина (*врываясь запыхавшаяся*): Пусть скажет, как она относится к хозяйственным затруднениям.

Все (в негодовании): Это политический вопрос, это не имеет отношения.

Председатель: Но раз вопрос задан, придется отвечать.

Как вы относитесь к хозяйственным затруднениям?

Чистимая (*при общем шуме бормочет*): Это временные затруднения.

Председатель (*перекрикивая шум*): Она сказала, что это временные затруднения.

На этом кончилось.

Пятнадцатого (послезавтра) мы ликвидируемся (ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУГОВ), и я опять пушусь на поиски приюта на время «Хоз. затр.».

Шварцу и Катерине Ивановне я не писал, так что ни о порядочных людях (порядочные люди не приглашают на определенный день, а сами скрываются неизвестно куда), ни о Вашем возвращении не имел случая им сообщить. Впрочем, если нужно, я их уведомяю об этом специальным письмом, о чем, пожалуйста, сделайте мне распоряжение.

Тощий ли (то есть тощее ли, чем зимой) Михаил Леонидович и что он курит?

Если можно узнать, на каком градусе (по Цельсию, то есть при ста градусах) дело с моей книжкой, то очень прошу. При мысли, что она не успеет выйти, у меня **ЛЕДЕНЕЕТ КРОВЬ И ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ ДЫБОМ.**

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Эти чернила, хотя и ТАК СЕБЕ, но не свои.

127

27 августа.

Дорогие граждане. «Ленинграда» я не видел и ничего про это дело не слышал. Ругательное примечание? Между прочим, Чумандринская записка на Путиловский завод хранится у меня в качестве кюрьозитэ агреабль.⁴⁵

Если Вы собираетесь уехать на октябрь, то «Фома», по-видимому, приближается к концу. Когда он будет напечатан книгой, я дорвусь наконец до прочтения оного (будучи ненавистником «Звезды»).

Сметаничу я хотел бы сообщить, что по наведенным мной справкам Мангаттан по-американски называется «Мэнхатт-эн», а не «Манхэттэн», но не знаю его адреса.

Какая рукопись Вени Каверина подвернулась Кошке: не «Брат» ли «и его шпага»? Если она, то как она Вам нравится? Не напишу ему, так как не помню его адреса (этот абзац кончается одинаково с предыдущим).

Последний вопрос (задаю чертовски заинтересованный): кто этот прекрасный юморист и вообще хороший человек, человек со вкусом, который признает мою квалификацию?

Мерзавка Элисо все еще не показывалась. Вместо этого

⁴⁵ Забавная безделушка (фр.).

был Марк Иванович Сагайдачный – научно-показательные сеансы гипнотизма – и комедия в 6 частях «Крупная неприятность», зрелище, действительно лишенное всякой приятности и почему-то вызвавшее у меня большое подозрение, что сценарий сочинен Колей Никитиным.

Я нанялся с начала сентября на постройку электрической станции – третья остановка по железной дороге. Поезд отправляется из Брянска без двадцати в шесть утра, сиденье там с семи до четырех и возвращение в Брянск в половине шестого. Теперь же у меня свободный промежуток, поливаемый дождем.

Примерно уже месяц, как жизнь стала в высшей степени отрадней, благодаря отменному обилию груш и яблок. Тень же на нее наводит исчезновение мелких денег, без которых ни к мороженщику, ни к кинематографу, ни к продавцу сапужной мази нет подступа.

«В наборе», «верстка» – так как я не Профessional, то ничего в этом не понимаю. Через сколько приблизительно месяцев будет готово – это я, конечно, понял бы.

Чтобы закончить поэтически: началась осень, черт возьми, летает паутина и **МЕЛЬКАЕТ ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ НА ЗЕЛЕНИ ДЕРЕВ.**

Ваш Л. Добычин.

Только что узнал, что появилось **ЗАТРУДНЕНИЕ С УК-**

27 августа.

Дорогая Ида Исаковна, Вы спрашивали, какое впечатление произвело Примечание. Я купил эту книжку и прочел его. Оно глупо, потому что не видно, зачем же эти штуки в конце концов напечатаны. В «Стройке» было лучше.

«Высказывания на страницах» я уже предвижу каковы должны быть, ибо все доброжелатели, сообщающие частным образом, что «я хотел писать о вас статью», ни на каких «Страницах» не «высказываются».

Ваш Л. Добычин.

31 августа.

1) Дорогой Михаил Леонидович. Случилось вот что: я сочинил рассказец «Матерьял», и половина уже написана. Не позже двух недель будет готово. Страшно и ужасно хочется, чтобы он вошел в Книжку. Его место третье от конца (между «Пожалуйста» и «Сад»), длина 600–700 слов (около 1/8 листа). Можно ли его еще впечь туда? Если да, то очень прошу

предупредить издательство и известить меня.

2) Ежедневно я съедаю больше 50 груш.

3) От этого я в высшей степени помолодел:

а) баба на реке спросила (У МЕНЯ): «Мальчик, где тут брод?»»

б) три купальщицы кричали (МНЕ): «Молодой человек, вы откуда?»»

4) Матерьял (см. п.1) не в смысле «мануфактура», а в смысле «материал для чистки аппарата».

5) Завтра я поеду в лес (куда я нанялся), чтобы узнать, с которого числа начнется там мое функционированье.

Кланяюсь. Приступлено ли к потреблению грибов, замаринованных Идой Исаковной?

Ваш Л. Добычин.

130

8 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. Я сочинил рассказик и посылаю его Вам в двух штуках, как требуется для издательства писателей.

Если возможно, то, пожалуйста, не откажите <зачеркнуто слово> устроить, чтобы его включили в книжку – между «Пожалуйста» и «Садом» или между «Садом» и «Портретом» – мне все равно, и будет как Вы скажете.

Не попадая в книжку, он никуда не попадет, и его надо туда обязательно вернуть.

Так как я прошу Вас говорить с Алянским, то заодно, пожалуйста, скажите ему, что если может, то пусть вышлет полтора рубля. В лес я не нанялся, потому что при трате времени в двенадцать часов в день там, оказалось, платят полтора рубля, и из них еще нужно платить за поезд. Поэтому я подкарауливаю какую-нибудь **ОТРЪШАНСЬ**.⁴⁶

Что касается Высокой точки зрения, то, пожалуйста, напишите, каков этот рассказ с высокой точки, потому что я сам по обыкновению сразу ничего не могу сообразить.

Третье, что прошу сказать Алянскому, – это чтобы обязательно прислал корректуру.

Придумал четвертое: я видел замечательную обложку: «Пушкин» – черными, «Письма» – красными. Если бы мне такую сделали, то – ах, после этого можно хоть и помирать!

Только «Л. Добычин», а не «Леонид», как некоторые мерзавцы неизвестно на каком основании практикуют. Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

⁴⁶ Другая возможность (фр.).

14 сентября.

Дорогой Михаил Леонидович. Я получил корректуру, и все строгости, о которых я просил Иду Исаковну, оказались не нужны.

На корректуре я увидел, что тираж – две тысячи (хотя по договору он «не менее 4000»), и денег, значит, больше мне не будет, а есть, должно быть, даже долг.

Одна гадалыщица гадала мне на картах (поймя дня два-три назад), что денег, на которые я уповаю, я не получу, после чего мне будут отпущены разные «разочарования» и «досады». После этого с «мужчиной, на которого я рассчитываю», произойдет «болезнь или какая-нибудь неожиданность». Настанут «неприятности» и «хлопоты», и вдруг поступит неожиданное «выгодное предложение», после которого – «дорога», хотя и не столь далекая, как я предполагаю.

Первый пункт этой отталкивающей программы («деньги») уже сбылся, остальные мерзости – еще грозят.

Я выдумал рассказ про «детский сад» и собирался написать его перед «романом», но в связи с «деньгами» вся эта история откладывается, так как наступает неожиданная эпоха спешного разыскивания канцелярских мест, чтобы занять из оных какое попало.

Если Вы не написали мне, как Вам понравился рассказ

про «матерьял», то напишите.

Ида Исаковна, пожалуйста, прочтите предыдущий абзац этого письма.

Позавчера я видел Нашумевший Боевик про Саламбо. Всё было очень так себе, и под конец Саламбо прилегла. Все решили, что она просто СОМЛЕЛА, но надпись объявила иное:

«Так умерла Саламбо, дочь Гамилькара».

Я был болен и у меня был бред в виде заглавия: не то «Эн шьен батизэ», не то «Эн прэтр энбатизэ», не то «Эн прэтр марье»,⁴⁷ – все три вертелись, и я не мог выбрать. Это после того, как я кончил «рассказ».

Ваш Л. Д.

1932 год

132

2 декабря.

Михаил Леонидович.

Я пробую написать Вам, потому что, может быть, причины, заставившие Вас перестать мне отвечать два с половиной года назад, уже не действуют.

⁴⁷ Крещеная собака, некрещеный священник, женатый священник (фр.).

Не знаю, продолжаете ли Вы жить в том же доме, но узнать Ваш адрес через третьих лиц мне не хотелось.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

133

6 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Позвольте Просить Вас позаботиться об этом маленьком рассказе. Он совсем готов, и я не буду докучать Вам исправлениями.

Я очень рад, что решился опять написать Вам.

Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

134

10 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович.

Я таких писем, на которые бы не ответил, от Вас не получал. Впрочем, это не так важно. Если бы это Вас могло интересовать, Вы в свое время запросили бы.

Хоть у меня *новых рукописей* нет, но за советом обратиться

к Вам есть вот с чем. Старые рукописи я сильно поисправил. Они сделались приятней. Мне хотелось бы издать в Москве составленную из них книжку.

Так как изданная в Ленинграде, насколько я заметил, в продажу не пускалась, то в таком желании, думаю, нет ничего предосудительного.

Об этом и позвольте Вас спросить: может ли это пройти и куда следует адресоваться.

Кланяюсь.

Добычин.

135

30 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Мне жаль, что я ошибся относительно непоступления книжки в продажу.

Нового я ничего не написал. Пишу роман. Когда будет готова (к лету) первая часть (конечно, один лист), я попрошу Вас посмотреть ее.

Мне бы хотелось написать Вам более частное письмо, но я отвык.

Я прочитал в прошлом году «Фому». Вообще, по отношению к Вам держался в курсе.

«Элисо», которую мне поручила посмотреть Ида Исаковна, я так и не смотрел – прошу простить.

Добычин.

1933 год

136

31 января.

Дорогой Михаил Леонидович.

Не могу себе представить порядков в Вашем доме при наличии Грудного Сына.

Часть романа я пошлю, когда она будет готова. Её есть уже восемь глав и предстоят еще две. А писать их – месяца четыре. Я писатель только на полпроцента, к тому же эту зиму мы сидели без электричества.

Роман, который Вы кончаете, должно быть, тот, который будет напечатан в бывшем «ЛОКАФ», – я читал об этом объявление.

Добычин.

137

15 марта.

Дорогой Михаил Леонидович.

Вот два рассказа, сочиненные еще в тридцатом году. Но так как они нигде не были помещены, то, может быть, их можно будет куда-нибудь упрятать.

Кроме того, здесь книжка, называемая «Матерьял». Хотя она, как Вы мне написали, и неосуществима, но пусть, если Вы позволите, лежит у Вас.

Романа моего сочинено уже девять глав, а когда будет десять, я отправлю их Вам. Сочинение глав задерживается отсутствием.

а) в течение всей зимы электричества,

б) в течение более чем месяца – керосина, в результате чего испытывается недостаток освещения, выходные же дни посвящаются стоянию в очередях.

Добычин.

В книжке «Матерьял» не откажите посмотреть рассказ «Сиделка» (стр.27) – там всего больше изменений против прежнего.

138

31 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за согласие заботиться о тех предметах, которые Вы перечислили в Вашем письме.

Естественное освещение, как Вы предсказывали, в самом деле наступило.

Ваш Л. Д.

139

23 мая.

Дорогой Михаил Леонидович. Не откажите прочесть эту Первую Часть и написать мне, 1) как Вы находите ее, 2) можно ли ее где-нибудь напечатать – это мне было бы чрезвычайно желательно на предмет получения Платы.

Что происходит с теми двумя рассказами, которые я Вам отправил? По-видимому, с ними ничего не выйдет.

Извините почерк. Переписывать я ненавижу, и очень некрасиво получается.

Л. Д.

140

5 июня.

Дорогой Михаил Леонидович. Благодарю Вас за письмо. Я страшно ждал его, и оно пришло в тот самый день, когда, по моим расчетам, должно было прийти.

Благодарю Иду Исаковну за ее приписку. Кланяюсь.

Ваш Д.

141

19 июля.

Дорогой Михаил Леонидович. Вы были любезны написать, что Вы удивлены, что рукопись не принимают. Я не удивлен. Но все-таки хотелось бы ее пристроить. Если не удастся в «Современнике», то Вы, может быть, захватите ее когда-нибудь в Москву. Пока она не попадет куда-нибудь, я не решусь на продолжение – это было бы уж чересчур филантропично.

Ваш Л. Д.

«Превращение воды в китайнку и исчезновение китайнки в воздухе. Феерический аттракцион». Это у нас на афише. Липы цветут.

142

Дорогой Михаил Леонидович. Я послал заявление в комиссию по распределению жилплощади о предоставлении

мне помещения и письмо М. Э. Коханову о поддержке этого заявления. Коханову я написал, что попрошу Вас обосновать перед ним эту просьбу (потому что он сам обо мне ничего не знает). Очень прошу Вас сказать ему что-нибудь и, если нужно, – еще кому следует.

7/ХП.

Ваш Л. Добычин.

143

25 декабря.

Дорогой Михаил Леонидович. Я Вам писал недели две назад. Ответа я не получил. То обстоятельство, что письма пропадают, позволяет мне нарушить этикет и спросить, ответили ли Вы.

Моя «нагрузка» – выписка газет. Поэтому я иногда держу в руках «Литературную газету» и заглядываю, нет ли там чего-нибудь, чем мог бы и я поинтересоваться. Таким образом я вычитал, что Вы провели 24 часа за рулем в районе Смольного, встречали Федина и пишете «Евгений Левинэ».

Добычин.

1934 год

144

9 марта.

Дорогой Михаил Леонидович. Не сочтите нескромностью, что я собираюсь переезжать в Ленинград. Мне отвели комнату Косова на углу проспектов 25 октября и Володарского. Но будет еще одно заседание комиссии из Казакова, Маргулиса и Чумандрина, на которой все это может полететь прахом.

Если позволите, очень прошу Вас сделать внушение этой комиссии, чтобы в отношении меня она оставила все без перемен.

Ее члены, конечно, не знают, что я их большой литературный поклонник.

Ваш Л. Добычин.

1935 год

145

Дорогой Михаил Леонидович. Может быть, Вы разрешите мне вместо «надоев уже нам» написать «перестав уже нас занимать».

Добычин.
9/VIII

По поводу того, что «надоев» встретило с Вашей стороны отпор, я вспомнил заголовок:

Леди Астор дает отпор антисоветским выпадам герцогини Этолл.

1936 год

146

9 февраля.

Дорогой Михаил Леонидович. Вчера вечером Коля Степанов сообщил мне по телефону, что ему только что позво-

нил Лозинский и объявил, что вычеркивает из сделанной Колей Степановым рецензии (для «Литерат. Современ.») на «Город Эн» все похвальные места, так как имеется постановление бюро секции критиков эту книжку только ругать. Рецензия, по словам Коли Степанова, была составлена очень осторожно и похвалы были очень умеренные и косвенные, так как К.С. приблизительно предвидел, где будут зимовать раки.

Я бы относился ко всему этому с коленопреклонением и прочим, если бы знал, что это делается с какой-то точки зрения или какой-то высоты, но вся тут высота-то – высота какого-нибудь Левы Левина и точка зрения – его левая нога.

Очень прошу Вас поговорить с московскими людьми, которых Вы увидите, и выяснить, действительно ли следует в этом отношении осенить себя крестным знаменем, как выразился в 1861 году митрополит Филарет, и призвать благословение Божие на свой свободный труд, залог своего личного благосостояния и блага общественного, – или возможны какие-нибудь вариации.

Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин.

Л. Н. Рахманову

1934 год

147

30 июля.

Дорогой Леонид Николаевич.

Я прочел «Базиля». Очень хорошо. Я не ожидал даже, что так будет. После этого я попробовал «Племенного», но оставил. Это – действительно плохо (простите).

«Базиля» я после этого всем расхваливал, а мне говорили: «сухо». А я не понимаю, что значит «сухо» или «мокро». По моему, может быть хорошо или плохо, и это («Базиль») как раз хорошо.

Я пишу потому, что не знаю, когда Вы приедете, и хочу, чтобы мои комплименты к Вам скорее попали.

Добычин.

Но мне страшно интересно, откуда Вы всё это узнали.

1935 год

148

30 июля.

Леонид Николаевич, надо мне как-нибудь выбираться отсюда: холодно и прочее. Пожалуйста, узнайте, кто из дам сейчас в издательстве, чтобы мне написать туда про деньги. А может быть, если Вам случится быть там, переговорить с Зоей Александровной или Анной Николаевной (смотря по наличию).

Из Москвы «Советские писатели» мне написали («№ 2747 от 13 июля»), что авторскую корректуру вышлют числа двадцатого августа, а по договору окончательная расплата следует «по подписании авторской корректуры».

Мне там за вычетом налогов следует рублей шестьсот. Не могут ли устроить мне некоторое Забегание Вперед или в крайнем случае, иметь деньги наготове, чтобы сразу же по подписании корректуры мне их двинуть? Вы внушили бы им это. И при этом дали бы понять, что если у них набежало что-нибудь из «рукописей», то не мешало бы им чуточку попридержать до моего приезда, ибо я человек разоренный.

Кланяюсь Вашим домашним.

Я прочел здесь бездну книг, Селина в том числе. Пробо-

вал даже Бальзака, но – нет, дальше трех с половиной страниц не возмог, больно тошно.

Ваш Д.

Как Тимирязев? Поклон ему.
Брянск, Октябрьская, 47.

Укатил ли Гор с Дамочками?

149

17 августа.

Леонид Николаевич, сегодня я получил Ваше письмо. Благодарю Вас за проделанные в мою пользу подвиги. Денег я еще не получил, но если все оформлено, как Вы мне написали, то, должно быть, на днях они явятся. Если я в течение 3–4 дней их не получу, то напишу Вам с просьбой позвонить туда, а если получу, то ничего писать не буду.

Это хорошо, что Вы едете в начале сентября, а не в ноябре: подспеете к дарам Флоры.

Я, если деньзнаки получу, поеду в Ленинград числа 27–28, чтобы успеть проехать до курортников.

Вчера мне присылали из Москвы «эскиз обложки» – какая-то гора с коричневыми избами на склоне, и вчера я отказался от нее, но сегодня написал, чтобы валяли эту гору –

все равно ведь, лишь бы поскорей.

Я бездельничаю, здесь у меня к отъезду окажется состряпано только пол-листа – правда, работа доброкачественная, но это безразлично при оплате по количеству.

Я Вас еще застану. Позвоню, когда приеду.

Шурка написал мне, что он красил на Смоленском кладбище кресты.

Про Тимирязева Вы мне не написали и про Гора тоже (кроме Вас, я никому из Сослуживцев не писал и ничего не знаю, так что в этом отношении положение мое плачевное и заслуживающее сожаления).

Кланяюсь Татьяне Леонтьевне и Девушке, которую, к несчастью, забыл как зовут.

Ваш Л. Добычин.

Брянск, Октябрьская, 47.

150

21 августа.

Нет, Леонид Николаевич, не прислал мне денег этот бухгалтер, ленивый и лукавый, – чтоб ему был плач и скрежет зубов!

Если Вы на это письмо наткнетесь скоро, позвоните ему, пожалуйста, и спросите, что с ним.

Пока он не придет, я не могу ехать, а если никогда не

пришлет, то никогда не смогу. А это мне уж совсем убой, тем более, что я сюда и пальто не взял, так как выезжал в жару и думал, что вернусь до холодов.

Поклоны.

Д.

Брянск, Октябрьская, 47.

М. М. Шкапской

151

(Февраль-март 1936)

Дорогая Марья Михайловна.

Если у Вас найдется время, напишите мне немножко.

Следовало бы извиниться, что я обращаюсь с этим к Вам, и прочее, но я думаю, Вы это примете без извинений.

Мне как-то очень беспокойно, хочется немножко жаловаться, а **народу** мало.

Кланяюсь Вам.

Л. Добычин.

Ленинград, I, Мойка, 62, кв. 8.

Письма и записки делового характера. Надписи на книгах

М. А. Кузмину

152

Милостивый Государь
Михаиль Алексеевич!

Я позволиль себѣ переслать на Ваше разсмотрѣние несколько беллетристическихъ издѣлій и очень прошу Вас, если Вы не найдете этого ненужнымъ, дать мнѣ о нихъ Вашъ отзывъ.

Л. Добычинъ.
Брянск, Губпрофсовѣтъ.
30 мая 1924.

**В редакцию журнала
«Русский современник»**

153

Мной получено письмо от 17 ноября К. И. Чуковского, который обещал от имени редакции выслать мне «деньги по первому требованию». Прошу выслать что причитается.

Л. Добычин.

9 декабря 1924.

Брянск, Губпрофсовет. Л. И. Добычину.

В. В. Богдановской

154

Многоуважаемая Вера Владимировна. 26 января я послал Вам заказное письмо с просьбой о передаче двух рукописей («Козлова» и «Нинон») Е. Л. Шварцу и о высылке мне четвертой книжки и гонорара за напечатанный там мой рассказ. Марка на ответ была приложена. Еще раз очень прошу Вас

найти возможным ответить на мое письмо.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет

9 февраля 1925.

К. И. Чуковский писал мне, что «Современник», вероятно, больше не будет выходить. Надеюсь, Вы признаете за мной право знать, что случилось с посланным мной материалом. Благоволите не оставить это письмо без ответа.

Л. Добычин.

155

10 февраля 1925.

Многоуважаемая Вера Владимировна. Я получил письмо Слонимского – рукописи у него: очень благодарю Вас.

Теперь мне остается только получить деньги за напечатанный рассказ. Не откажите содействовать и в этом.

Л. Добычин.

Брянск, Губпрофсовет.

З. А. Никитиной

156

15 июля 1930.

Зоя Александровна.

Ваша фамилия другая, но я ее не знаю. Можно ли устроить, чтобы моя книжка называлась «ПОРТРЕТ»?

Больше менять названий уж не буду. Клянусь. Кроме того, пожалуйста, велите, чтобы мне прислали корректуру.

Извините.

Л. Добычин.

157

30 ноября 1930.

Уважаемая Зоя Александровна.

Благодарю Вас за ответ. Вы очень добры.

Л. Добычин.

25 декабря 1930.

Уважаемая Зоя Александровна. Я получил Вашу открытку, а вчера и «авторские экземпляры». Благодарю Вас. Экземпляры замечательно милы. Обложка осуществляет все мои желания.

Если позволите, я обращаюсь к Вам с просьбой (уже последней) написать еще, будут ли мне высланы какие-либо деньги. Я не беспокоил бы Вас этим, но, к сожалению, мне это очень интересно.

Кланяюсь Вам.

Л. Добычин.

А. Л. Григорьеву

Тов. Григорьев, приходите ко мне, пожалуйста, тридцатого в восемь часов и послушайте чтение, в которое я перед Вами и еще двумя-тремя человеками (Гор) думаю пуститься.

Добычин.

Мойка, 62, кв. 8, вход с Демидова (д. 2) в ворота, дверь первая налево.

<Нарисована схема подхода к квартире>

160

М. Л. Слонимскому – на книге «Встречи с Лиз».

Дорогой Михаил Леонидович.

Позвольте попросить Вас принять эту книжку (как всегда, она – с опечатками), если Вы уже вернулись из Вашей поездки.

Ваш Л. Добычин.

161

Н. К. Чуковскому – на книге «Город Эн».

Николаю Корнеевичу, с субординацией. Д. 14/XII 1935 г.

162

М. Н. Чуковской – на книге «Город Эн».

Марине Николаевне, и чтоб не терять. Д. 19 января 1936.